

Гашуш





Salamandra P.V.V.

ГАШИШ

Сборник

Salamandra P.V.V.

Гашиш: Сборник. Сост. и прим. А. Шермана. Илл. Г. Зиберта и М. Блейна. – Б. м.: Salamandra P.V.V., 2017. – 274 с., илл.

В сборник вошли произведения писателей и поэтов XIX века, посвященные гашишу – нередко воспринимавшемуся в те времена как источник романтических ориентальных видений. А. Дюма, Ж. де Нерваль, Т. Готье и Ш. Бодлер представляют круг литераторов, входивших в парижский «Клуб гашишистов». Также в книге – восточная фантазия австрийца Ф. Леммермауэра «Гашиш», одноименная поэма А. Голенищева-Кутузова и рассказ П. Гнедича. В приложениях – отчеты русских медиков, ставивших на себе опыты по употреблению гашиша.

© Authors, translators, 2017

© A. Sherman, состав, примечания, 2017

© Salamandra P.V.V., подг. текстов, оформление, 2017



Ты, куря папиросу с гашишем,
Предложила попробовать мне, —
О, отныне с тобою мы дышим
Этим сном, этим мигом извне.
Голубые душистые струйки
Нас в дурман навсегда вовлекли:
Упоительных змеек чешуйки
И бананы в лианах вдали.

И. Северянин

А. Дюма

Из романа

«ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»

Между тем ужин продолжался; впрочем, он, казалось, был подан только для Франца, ибо незнакомец едва приоткрылся к роскошному пиршеству, которое он устроил для неожиданного гостя и которому тот усердно отдавал должное.

Наконец, Али принес десерт, или, вернее, снял корзины со статуй и поставил на стол.

Между корзинами он поставил небольшую золоченую чашу с крышкой.

Почтение, с которым Али принес эту чашу, возбудило во Франце любопытство. Он поднял крышку и увидел зеленое тесто, по виду напоминавшее шербет, но совершенно ему не известное.

Он в недоумении снова закрыл чашу и, взглянув на хозяина, увидел, что тот насмешливо улыбается.

— Вы не можете догадаться, что в этой чаше, и вас разбавляет любопытство?

— Да, признаюсь.

— Этот зеленый шербет — не что иное, как амврозия, которую Геба подавала на стол Юпитеру.

— Но эта амврозия, — сказал Франц, — побывав в руках людей, вероятно, променяла свое небесное название на земное? Как называется это снадобье, к которому, впрочем, я не чувствую особенного влечения, на человеческом языке?

— Вот неопровержимое доказательство нашего материализма! — воскликнул Синдбад. — Как часто проходим мы мимо нашего счастья, не замечая его, не взглянув на него; а если и взглянем, то не узнаем его. Если вы человек положительный и ваш кумир — золото, вкушите этого шербета, и перед вами откроются россыпи Перу, Гузерата и Голконды; если вы человек воображения, поэт, — вкушите его, и границы возможного исчезнут: беспредельные дали откроются перед вами, вы будете блуждать, свободный сердцем, свободный душою, в бесконечных просторах мечты. Если вы честолюбивы, гонитесь за земным величием — вкушите его, и через час вы будете властелином, — не маленькой страны в уголке Европы, как Англия, Франция или Испания, а властелином земли, властелином мира, властели-

ном вселенной. Троп ваш будет стоять на той горе, на которую Сатана возвел Иисуса и, не поклоняясь блуду, не лобызая его когтей, вы будете верховным повелителем всех земных царств. Согласитесь, что это соблазнительно, тем более что для этого достаточно... Посмотрите.

С этими словами он поднял крышку маленькой золоченой чаши, взял кофейной ложечкой кусочек волшебного шербета, поднес его ко рту и медленно проглотил, полузакрыв глаза и закинув голову.

Франц не мешал своему хозяину наслаждаться любимым лакомством; когда тот немного пришел в себя, он спросил:

— Но что же это за волшебное кушанье?

— Слыхали вы о Горном Старце, — спросил хозяин, — о том самом, который хотел убить Филиппа Августа?

— Разумеется.

— Вам известно, что он владел роскошной долиной у подножия горы, которой он обязан своим поэтическим прозвищем. В этой долине раскинулись великолепные сады, насажденные Хасаном-ибн-Сабба, а в садах были уединенные беседки. В эти беседки он приглашал избранных и угощал их, по словам Марко Поло, некоей травой, которая переносила их в эдем, где их ждали вечно цветущие растения, вечно спелые плоды, вечно юные девы. То, что эти счастливые юноши принимали за действительность, была мечта, но мечта такая сладостная, такая упоительная, такая страстная, что они продавали за нее душу и тело тому, кто ее дарил им, повиновались ему, как богу, шли на край света убивать указанную им жертву и безропотно умирали мучительной смертью в надежде, что это лишь переход к той блаженной жизни, которую им сулила священная трава.

— Так это гашиш! — воскликнул Франц. — Я слышал о нем.

— Вот именно, любезный Аладдин, это гашиш, самый лучший, самый чистый александрийский гашиш, от Абу-гора, несравненного мастера, великого человека, которому следовало бы выстроить дворец с надписью: «Продавцу сча-

стья — благодарное человечество».

— А знаете, — сказал Франц, — мне хочется самому убедиться в справедливости ваших похвал.

— Судите сами, дорогой гость, судите сами; но не останавливайтесь на первом опыте. Чувства надо приучать ко всякому новому впечатлению, нежному или острому, печальному или радостному. Природа борется против этой божественной травы, ибо она не создана для радости и цепляется за страдания. Нужно, чтобы побежденная природа пала в этой борьбе, нужно, чтобы действительность последовала за мечтой: и тогда мечта берет верх, мечта становится жизнью, а жизнь — мечтою. Но сколь различны эти превращения! Сравнив горести подлинной жизни с наслаждениями жизни воображаемой, вы отвернетесь от жизни и предадитесь вечной мечте. Когда вы покинете ваш собственный мир для мира других, вам покажется, что вы сменили неаполитанскую весну на лапландскую зиму. Вам покажется, что вы спустились из рая на землю, с неба в ад. Отведайте гашиша, дорогой гость, отведайте.

Вместо ответа Франц взял ложку, набрал чудесного шербета столько же, сколько взял сам хозяин, и поднес ко рту.

— Черт возьми! — сказал он, проглотив божественное снадобье. — Не знаю, насколько приятны будут последствия, по это вовсе не так вкусно, как вы уверяете.

— Потому что ваше нёбо еще не приноровилось к необыкновенному вкусу этого вещества. Скажите, разве вам с первого раза понравились устрицы, чай, портер, трюфели, все то, к чему вы после приистрастились? Разве вы понимаете римлян, которые приправляли фазанов ассой-фетидой, и китайцев, которые едят ласточкины гнезда? Разумеется, нет. То же и с гашишем. Потерпите неделю, и ничто другое в мире не сравнится для вас с ним, каким бы безвкусным и пресным он ни казался вам сегодня. Впрочем, перейдем в другую комнату, в вашу. Али подаст нам трубки и кофе.

Они встали, и пока тот, кто назвал себя Синдбадом и кого мы тоже время от времени наделяли этим именем, чтобы как-нибудь называть его, отдавал распоряжения слуге, Франц вошел в соседнюю комнату.

Убранство ее было проще, но не менее богато. Она была совершенно круглая, и ее всю опоясывал огромный диван. Но диван, стены, потолок и пол были покрыты драгоценными мехами, мягкими и нежными, как самый пушистый ковер; то были шкуры африканских львов с величественными гривами, полосатых бенгальских тигров, шкуры капских пантер, в ярких пятнах, подобно той, которую увидел Данте, шкуры сибирских медведей и норвежских лисиц — они были положены одна на другую, так что казалось, будто ступаешь по густой траве или покоишься на пуховой постели.

Гость и хозяин легли на диван; чубуки жасминового дерева с янтарными мундштуками были у них под рукой уже набитые табаком, чтобы не набивать два раза один и тот же. Они взяли по трубке. Али подал огня и ушел за кофе.

Наступило молчание; Синдбад погрузился в думы, которые, казалось, не покидали его даже во время беседы, а Франц предался молчаливым грезам, что всегда посещают курильщика хорошего табака, вместе с дымом которого отлетают все скорбные мысли и душа населяется волшебными снами.

Али принес кофе.

— Как вы предпочитаете, — спросил незнакомец, — по-французски или по-турецки, крепкий или слабый, с сахаром или без сахара, настоявшийся или кипяченый? Выберите: имеется любой.

— Я буду пить по-турецки, — отвечал Франц.

— И вы совершенно правы, — сказал хозяин, — это показывает, что у вас есть склонность к восточной жизни. Ах! Только на Востоке умеют жить. Что касается меня, — прибавил он со странной улыбкой, которая не укрылась от Франца, — когда я покончу со своими делами в Париже, я поеду доживать свой век на Восток; и если вам угодно будет известить меня, то вам придется искать меня в Каире, в Багдаде или в Исфагане.

— Это будет совсем нетрудно, — сказал Франц, — потому что мне кажется, будто у меня растут орлиные крылья и на

них я облечу весь мир в одни сутки.

— Ага! Это действует гашиш! Так расправьте же свои крылья и уносите в надземные пространства: не бойтесь, вас охраняют, и если ваши крылья, как крылья Икара, растают от жгучего солнца, мы примем вас в наши объятия.

Он сказал Али несколько слов по-арабски, тот поклонился и вышел.

Франц чувствовал, что с ним происходит странное превращение. Вся усталость, накопившаяся за день, вся тревога, вызванная событиями вечера, улетучивались, как в ту первую минуту отдыха, когда еще настолько бодрствуешь, что чувствуешь приближение сна. Его тело приобрело бесплотную легкость, мысли невыразимо просветлели, чувства вдвойне обострились. Горизонт его все расширялся, но не тот мрачный горизонт, который он видел наяву и в котором чувствовал какую-то смутную угрозу, а голубой, прозрачный, необозримый, в лазури моря, в блеске солнца, в благоухании ветра. Потом, под звуки песен своих матросов, звуки столь чистые и прозрачные, что они составили бы божественную мелодию, если бы удалось их записать, он увидел, как перед ним встает остров Монте-Кристо, но не грозным утесом на волнах, а оазисом в пустыне; чем ближе подходила лодка, тем шире разливалось пение, ибо с острова к небесам неслась таинственная и волшебная мелодия, словно некая Лорелея хотела завлечь рыбака или чародей Амфион — воздвигнуть там город.

Наконец лодка коснулась берега, но без усилий, без толчка, как губы прикасаются к губам, и он вошел в пещеру, а чарующая музыка все не умолкала. Он спустился, или, вернее, ему показалось, что он спускается по ступеням, вдыхая свежий благовонный воздух, подобный тому, который веял вокруг грота Цирцеи, напоенный таким благоуханием, что от него душа растворяется в мечтаниях, насыщенный таким огнем, что от него распаляются чувства; и он увидел все, что с ним было наяву, начиная с Синдбада, своего фантастического хозяина, до Али, немого прислужника; потом все смешалось и исчезло, как последние тени в гаснущем волшебном фанаре, и он очутился в зале со статуями, освещен-

щенной одним из тех тусклых светильников, которые у древних охраняли по ночам сон или наслаждение.

То были те же статуи, с пышными формами, сладострастные и в то нее время полные поэзии, с магнетическим взглядом, с соблазнительной улыбкой, с пышными кудрями. То были Фрина, Клеопатра, Мессалина, три великие куртизанки; и среди этих бесстыдных видений, подобно чистому лучу, подобно ангелу на языческом Олимпе, возникло целомудренное создание, светлый призрак, стыдливо прячущий от мраморных распутниц свое девственное чело.

И вот все три статуи объединились в страстном вожделении к одному возлюбленному, и этот возлюбленный был он; они приблизились к его ложу в длинных, ниспадающих до ног белых туниках, с обнаженными персями, в волнах распущенных кос; они принимают позы, которые соблазняли богов, но перед которыми устояли святые, они взирают на него тем неумолимым в пламенном взором, каким глядит на птицу змея, и он не имеет сил противиться этим взорам, мучительным, как объятие, и сладостным, как лобзание. Франц закрывает глаза и, бросая вокруг себя последний взгляд, смутно видит стыдливую статую, закутанную в свое покрывало; и вот его глаза сомкнулись для действительности, а чувства раскрылись для немислимых ощущений.

Тогда настало нескончаемое наслаждение, неустанная страсть, которую пророк обещал своим избранникам. Мраморные уста ожили, перси потеплели, и для Франца, впервые отдавшегося во власть гашиша, страсть стала мукой, наслаждение — пыткой; он чувствовал, как к его лихорадочным губам прижимаются мраморные губы, упругие и холодные, как кольца змеи; но в то время как руки его пытались оттолкнуть эту чудовищную страсть, чувства его покорялись обаянию таинственного сна, и, наконец, после борьбы, за которую не жаль отдать душу, он упал навзничь, задыхаясь, обессиленный, изнемогая от наслаждения, отдаваясь поцелуям мраморных любовниц и чародейству иступленного сна.

Ж. де Нерваль

ГАШИШ

(Из «Истории Халифа Хакима»)

На правом берегу Нила, недалеко от горы аль-Мукаттам, возвышающейся над новым городом, близ пристаней Фустата, где покоятся руины Старого Каира, примерно в 1000-м году христианского летосчисления, что соответствует четвертому веку хиджры, была расположена небольшая деревня, обитатели которой в основном принадлежали к секте сабеев.

За последними домами, стоящими на берегу реки, открывается живописный вид: воды Нила тихо плещутся у острова Рода, похожего на корзину цветов в руках невольника. На другом берегу видна Гизе, и после захода солнца в фиолетовую пелену заката врезаются гигантские треугольники пирамид. На светлом небе выделяются черные силуэты пальм, смоковниц и фиговых деревьев. Сфинксы, лежащие среди песков, похожи на сторожевых псов, охраняющих стадо буйволов, длинной чередой бредущих на водопой, и фонари рыбаков золотыми точками светятся в непроницаемой тьме.

В деревне сабеев, откуда открывается этот великолепный вид, среди рожковых деревьев, стоит белостенный окель, террасы которого спускаются прямо к воде: по ночам лодчичники, плывущие вверх и вниз по Нилу, видят, как в доме горят огоньки. Любопытный путешественник, находясь в фелюге посередине реки, может рассмотреть сквозь кружево решеток океля, как вокруг столиков на маленьких ящиках, сплетенных из пальмовых прутьев, или на диванах, крытых циновками, расположились завсегдатаи, чье поведение вызывает удивление наблюдателя. Возбужденная жестикуляция, сменяющаяся тупой неподвижностью, бессмысленный смех, нечленораздельные крики говорят о том, что перед ним один из тех домов, где, пренебрегая запретом, неверные возбуждают себя вином, бузой или гашишем.

Как-то вечером к одной из террас подошла лодка, гребец уверенно управлял ею, поскольку хорошо знал эти места; лодка причалила у первых ступенек, которые омывала вода, и из нее вышел юноша приятной наружности, с виду рыбак; он быстро и решительно поднялся в окель и сел в углу зала — вероятно, на свое обычное место. Никто не об-

ратил на него внимания; очевидно, это был завсегдатай.

В это же время через противоположную дверь, выходящую в сад, в зал вошел человек в черном шерстяном плаще, с длинными волосами, какие не носят в этих местах, и в белой шапочке.

Его появление привлекло всеобщее внимание. Он сел в темный угол, и скоро захмелевшие посетители забыли о его присутствии. Несмотря на бедность одеяния, пришедший не был похож на нищего, отмеченного печатью униженности. Резкие черты его лица напоминали львиную маску. Глаза цвета сапфира властно притягивали к себе, вселяя и ужас и восторг одновременно.

Юсуф, так звали юношу, приплывшего по реке, почувствовал расположение к странному незнакомцу, чье появление он сразу же заметил. Юноша не участвовал в общем веселье, он подошел к дивану, на котором сидел чужестранец.

— Брат, — сказал Юсуф, — ты выглядишь усталым. Наверное, ты пришел издалека? Не хочешь ли освежиться?

— Да, путь мой был недалек, — ответил чужестранец. — Я зашел в этот окель отдохнуть, но что мне отведать, ведь здесь подают лишь запретные напитки?

— Вы, правоверные мусульмане, осмеливаетесь смачивать губы лишь чистой водой; мы же, сабеи, имеем право, не нарушая своих законов, утолять жажду вином или золотистым ячменным пивом.

— Но сам ты не пьешь спиртного?

— Пьянство простолюдинов претит мне, — сказал Юсуф, делая знак негру, который поставил на столик две маленькие стеклянные чашки, оплетенные серебряной филигранью, и сосуд, наполненный зеленоватой кашицей, с воткнутой туда лопаткой из слоновой кости.

— В этой чаше — рай, который твой пророк обещал правоверным, и если ты не будешь столь щепетилен, то через час очутишься в объятиях гурий, даже не переходя через мост ас-Сират, — продолжал Юсуф, смеясь.

— Но ведь, насколько я понимаю, это гашиш, — сказал незнакомец, отодвигая чашку, в которую Юсуф уже поло-

жил порцию фантастической смеси. — А гашиш запрещен.

— Все, что приятно, то запрещено, — возразил Юсуф, проглотив первую ложку кашицы.

Незнакомец в упор посмотрел на него своими синими глазами и так сильно нахмурил лоб, что натянулась даже кожа на голове; казалось, он вот-вот кинется на беззаботного юношу и разорвет его в клочья; но он сдержался, морщины на лбу разгладились, и, внезапно решившись, он взял чашку и стал пробовать зеленую смесь.

Через несколько минут Юсуф и незнакомец уже ощутили действие гашиша, ими овладела приятная истома, на губах заиграла блаженная улыбка. Хотя они были знакомы от силы полчаса, им казалось, что они знают друг друга вечно. Действие наркотика усиливалось, они начали хохотать, возбужденно о чем-то рассказывать, особенно громко говорил чужестранец. Строго соблюдая запреты, он впервые отведал гашиша и сразу же испытал на себе его действие. Он выглядел страшно возбужденным: вихрем сменялись в его голове отрывки непонятных, неведомых, странных мыслей; глаза горели, словно освещенные изнутри отблесками незнакомого мира, какое-то сверхъестественное величие сквозило в его манерах, затем наступило расслабление, и он мягко опустился на пол, находясь под блаженным действием кейфа.

— Ну, приятель, — спросил Юсуф, который, кажется, успел заметить эту вспышку в поведении опьяненного незнакомца, — что тебе пригрезилось от простого фисташкового варенья? Будешь ли ты теперь предавать анафеме славных людей, которые собираются здесь, чтобы быть по своему счастливыми?

— Гашиш уподобляет человека богу, — ответил незнакомец медленно и громко.

— Да, — горячо подхватил Юсуф, — тем, кто пьет воду, знакома лишь грубая, материальная оболочка вещей. Опьянение, завлакивая пеленой взор, открывает глаза души; дух вырывается из своей темницы — человеческого тела, словно пленник от уснувшего стража, оставившего ключ в двери. Радостный и свободный, он блуждает на просторе,

беседуя с ангелами, которые озаряют его неожиданными и чудесными откровениями. Одним взмахом крыльев он переносится в атмосферу неслыханного счастья, и эти мгновения длятся вечность, так быстро сменяются ощущения. Я вижу, казалось бы, один и тот же, но в то же время и другой сон; я сажусь в лодку, напевая от радости, которой наполняют меня эти видения, и закрываю глаза от немеркнущего сверкания гиацинтов, карбункулов, изумрудов, рубинов, на их фоне развертываются замечательные фантастические зрелища, я вижу где-то в бесконечности небесное создание, прекраснее, чем все, описанное до сих пор поэтами, оно удивительно мягко улыбается мне и спускается за мной с небес. Ангел это или пери? Не знаю. Она садится ко мне в лодку, и грубое дерево сразу же превращается в перламутр, мы плывем по серебряной реке, и легкий ветер несет с собой ароматы.

— Странное и благостное видение! — прошептал незнакомец, покачивая головой.

— Это не все, — продолжал Юсуф. — Как-то вечером я принял меньшую дозу и очнулся от опьянения, когда лодка подплывала к острову Рода. На меня смотрела женщина, похожая на мое видение. Ее глаза, даже если они принадлежали человеческому существу, не утратили своего божественного блеска; из-под накидки в лунном свете мерцало одеяние, усыпанное драгоценными камнями. Я дотронулся до руки — мягкая, прохладная, нежная кожа, словно лепестки цветка; я укололся об оправу ее кольца и окончательно пробудился.

— Близ острова Рода? — спросил незнакомец задумчиво.

— Я не спал, — продолжал Юсуф, не обращая внимания на слова своего слушателя, — гашиш лишь оживил воспоминание, спрятанное в уголках души, потому что этот божественный лик был мне знаком. Но где я мог его видеть? На каком свете мы встречались? В какой прежней жизни мы могли сталкиваться? Этого я не знаю, но странная встреча, непонятное приключение ничуть меня не удивили: мне показалось естественным, что эта женщина, воплощение моего идеала, очутилась у меня в лодке посреди

Нила, словно вышла из какого-то речного цветка.

Не требуя никаких объяснений, я бросился к ее ногам и как своей воплощенной мечте сказал ей все пылкие и возвышенные слова, которые приходят на ум в часы любовного экстаза; я произносил слова, полные глубокого смысла, фразы, в которых заключались бездны мудрости, мои речи таили отзвук исчезнувших миров. Душа моя переполнялась величием прошлого и будущего: мне казалось, что любовь, которую я испытывал, была чувством, вмещающим в себя вечность.

По мере того как я говорил, ее огромные глаза заблестели и сделались лучистыми; она протянула ко мне свои прозрачные руки, и они засияли в ночи. Я почувствовал, что словно объят пламенем, и снова попал во власть грез. Когда я очнулся от сладостного забытья, овладевшего всем моим существом, я уже лежал под пальмой на противоположном берегу, а мой черный раб мирно спал около стоящей на песке лодки. На горизонте появились розовые отблески, занималось утро.

— Такая любовь совсем не походит на земные чувства, — сказал незнакомец, которого ничуть не смутила фантастичность рассказа Юсуфа, поскольку действие гашиша заставляет человека легко верить в любые чудеса.

— Я никому не рассказывал об этих невероятных событиях, почему я доверился тебе, незнакомому человеку? Мне трудно это понять. Что-то таинственное влечет меня к тебе. Когда ты вошел сюда, мой внутренний голос сказал мне: «Вот он наконец». Твой приход успокоил терзавшее меня смутное волнение. Ты тот, кого я ждал, сам того не ведая. Душа моя рвется тебе навстречу, и тебе я должен был открыть свою сокровенную тайну.

— Я испытываю те же самые чувства, — ответил чужестранец, — и скажу тебе то, в чем не осмеливался признаться даже самому себе. Твоя страсть невозможна, моя — чудовищна; ты любишь пери, я же... ты содрогнешься, я люблю свою сестру, но вместе с тем я не раскаиваюсь в своем преступном влечении. Как бы я ни судил себя, оправданием служит овладевшее мною тайное чувство, а не низ-

менная земная любовь. К сестре меня влечет не сладострастие, хотя по красоте ее можно сравнить лишь с призраком твоих видений, это какое-то бесконечное чувство, бездонное, как море, необъятное, как небо, какое способно испытывать лишь божество. Мысль о том, что сестра моя может принадлежать какому-нибудь мужчине, кажется мне чудовищной, как святотатство, ибо за ее телесной оболочкой я угадываю нечто возвышенное. Несмотря на ее земное имя, это супруга моей божественной души, дева, предназначенная мне с первых дней творения; иногда мне кажется, что через века и мрак я различаю следы нашей тайной связи. Мне на память приходят сцены, происходившие на земле до появления человека; я вижу нас обоих под золотой сенью Эдема, где нам повинуются послушные духи. Я боюсь, что, соединившись с другой женщиной, потревожу или опорочу мировую душу, которая живет во мне. От слияния нашей божественной крови может появиться бессмертная раса — верховное божество, более могущественное, чем все, известные нам до сих пор под различными именами и в разных обликах.

Пока Юсуф и чужестранец вели этот доверительный разговор, завсегдатаи океля в сильном опьянении то бессмысленно хохотали, предаваясь необузданному веселью, то застывали в иступлении, то судорожно извивались, но постепенно действие индийской конопли ослабевало, они успокаивались и падали на диван в полном изнеможении.

В окель вошел человек в длинной одежде, с лицом патриарха и окладистой бородой, он встал посреди зала и зычно произнес:

— Братья, поднимайтесь, я наблюдал за небом, настал благоприятный час, чтобы принести жертву перед сфинксом белого петуха во славу Гермеса и Агафодемона!

Сабей начали подниматься с диванов и, казалось, собирались пойти за своим священнослужителем. При этих словах глаза незнакомца несколько раз менялись в цвете: из синих они превратились в черные, лицо исказилось от ярости, а из груди вырвался глухой крик, от которого все присутствующие в ужасе содрогнулись, словно в окель проник

дикий лев.

— Безбожники, святотатцы, подлые твари! Гнусные идо-
лопоклонники! — закричал он голосом, напоминавшим
раскаты грома.

От этой вспышки ярости люди на мгновение оцепене-
ли. Незнакомец имел столь властный вид, так величест-
венно оправлял складки своего плаща, что никто не осмелил-
ся ответить на его обвинения.

Старец подошел к нему и произнес:

— В чем ты видишь зло, брат мой? Мы собираемся при-
нести в жертву нашим духам-покровителям Гермесу и Ага-
фодемону белого петуха, как это у нас принято.

Снова услышав эти два имени, незнакомец заскреже-
тал зубами от ярости.

— Если ты не разделяешь верований сабеев, зачем ты
пришел сюда? А может, ты приверженец Иисуса или Му-
хаммеда?

— Мухаммед и Иисус — самозванцы, — яростно закри-
чал чужестранец.

— Значит, ты исповедуешь религию парсов? Ты покло-
няешься огню?

— Все это ложь, выдумки, небылицы, — прервал нез-
накомец в черном плаще, еще более распаляясь от гнева.

— Кого же ты почитаешь?

— Он спрашивает, кого я почитаю?! Никого! Я сам —
бог, единственный, единый, истинный бог, все остальные
лишь тени!

При этом невероятном, чудовищном, безумном утвер-
ждении сабеи бросились на богохульника, и ему не поздо-
ровичилось бы, если бы Юсуф не оттащил его, прикрыв своим
телом, в лодку, хотя тот отбивался и кричал как бешеный.
Затем Юсуф, сильно оттолкнув лодку от берега, вывел ее
на середину реки. Лодка быстро поплыла по течению.

— Куда отвезти тебя? — спросил Юсуф у своего стран-
ного друга.

— Туда, к острову Рода, где ты видел сияние, — ответил
незнакомец, успокоенный ночной прохладой.

Несколько ударов веслами, и они подошли к берегу. Прежде чем спрыгнуть на песок, человек в черном плаще сказал своему спасителю, сняв с пальца перстень старинной работы:

— Где бы ты меня ни встретил, покажи мне этот перстень, и я исполню любое твое желание.

Затем он пошел в глубь острова и скрылся за деревьями, подступающими к самой воде. А Юсуф, чтобы успеть к обряду жертвоприношения, с удвоенной энергией налег на весла.

Т. Готье

КЛУБ ГАШИШИСТОВ

ТЕОФИЛЬ ГОТЬЕ

КЛУБЪ ГАШИШИСТОВЪ

РАЗСКАЗЫ

Переводъ съ французскаго

Л. Перхуровой.

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО
«УНИВЕРСАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА»
МОСКВА

Отель Пимодан

Приглашение, составленное в загадочных выражениях, понятных лишь членам нашего общества, заставило меня однажды декабрьским вечером отправиться в далекий квартал Парижа. Остров Святого Людовика является чем-то вроде оазиса посреди города; река, разделяясь на два рукава, обнимает его, ревниво охраняя от захвата цивилизации. Именно там, в старинном отеле Пимодан, выстроенном некогда Лозеном, происходили ежемесячные собрания нашего общества, и нынче я ехал туда впервые.

Только что пробило шесть часов, но было уже совершенно темно.

Туман, еще более густой на берегу Сены, закутывал все предметы точно ватой, пропуская лишь красноватые пятна зажженных фонарей и светящихся окон.

Мокрая от дождя мостовая отражала свет фонарей, словно речная гладь; резкий ветер ледяными иглами колотил лицо. Его пронзительный свист переходил в басовые ноты, ударяясь об арки мостов. Этот вечер был полон суровой поэзии зимы.

Как ни трудно было найти на длинной пустой набережной нужный мне дом, но моему кучеру все же удалось наконец разобрать полустертое имя отеля на мраморной доске.

Употребление звонков еще не проникло в эту глушь, и мне пришлось потянуть фигурный молоток. Послышался шорох натягиваемой веревки. Я дернул сильнее, и старый, ржавый язык замка поднялся, открывая массивные створки дверей.

Точно картина Скалькена, показалась за желтоватым прозрачным стеклом голова старой привратницы, освещенная мерцающим пламенем свечи. При виде меня на лице старухи появилась странная гримаса, и костлявый палец указал мне дорогу.

Насколько я мог различить при слабом свете, который освещает землю даже в самую темную ночь, двор, в который я попал, был окружен старинными строениями с ост-

роверхими крышами. Между каменными плитами росла трава, и я быстро промочил ноги, словно шел по лугу.

Узкие высокие окна парадного подъезда, сверкая на темном фоне, служили мне маяками, не позволяя заблудиться.

В вестибюле отеля я очутился перед одной из тех огромных лестниц времен Людовика XIV, где мог бы свободно разместиться современный дом. Египетская химера, во вкусе Лебрена, с сидящим на ней амуром, протягивала на пьедестал свои лапы, держа свечу в изогнутых в виде подсвечника когтях.

Пологие ступеньки и просторные площадки говорили о гениальности старинного архитектора и широте образа жизни давно прошедших времен. Поднимаясь по этим удивительным переходам в своем убогом черном фраке, я чувствовал себя не на месте в этой строго-выдержанной обстановке, мне казалось, я присвоил себе чужое право. Для меня была бы хороша и черная лестница.

Стены были увешаны картинами — то были копии полотен итальянских и испанских мастеров, по большей части без рам. На высоком потолке смутно вырисовывалась фреска на тему какого-то мифа.

Подойдя к указанному этажу, я узнал дверь по тамбуру, обитому мягким, лоснящимся от старости утрехтским бархатом. Пожелтевший галун и погнувшиеся гвозди свидетельствовали об их долголетней службе.

На мой звонок дверь с обычными предосторожностями открылась, и я словно возвратился на два века назад. Быстротекущее время, казалось, не коснулось этого дома, он походил на часы, которые забыли завести и стрелка которых показывает давно прошедший час. Я стоял на пороге огромного зала, освещенного лампами, зажженными на противоположном его конце. Белые стены зала были до середины увешаны потемневшими полотнами, носящими отпечаток эпохи, на гигантской печи возвышалась статуя, точно похищенная из аллеи Версаля. На куполообразном потолке извивался небрежным набросок какой-то аллегии во вкусе Лемуана, может быть, даже и его кисти.

Я направился в освещенную часть зала, где вокруг стола сгрудилось несколько человеческих фигур. Когда я вошел в светлую полосу, меня узнали и громкое «ура» потрясло гулкие своды старого отеля.

— Вот он, вот он! — наперебой кричали голоса. — Дайте ему его долю!

Перед буфетом стоял доктор; он вынимал лопаточкой из хрустальной вазы какое-то зеленоватое тесто или варенье и клал его по кусочку в палец величиной на блюдечки японского фарфора подле золоченой ложки.

Лицо доктора сияло энтузиазмом, глаза блестели, щеки пылали румянцем, вены на висках напряглись, раздувающиеся ноздри глубоко дышали.

— Это вычтется из вашей доли райского блаженства! — сказал он, протягивая мне мою порцию.

После этого снадобья пили кофе по-арабски, то есть с гущей и без сахара; потом сели за стол.

Читателя, конечно, удивит такое нарушение кулинарных обычаев, ибо никто не пьет кофе перед супом, варенье тоже едят на десерт. Это обстоятельство требует разъяснения.

В скобках

Когда-то на Востоке существовала страшная разбойничья секта. Во главе ее стоял шейх, которого звали Стариком Гор или Князем Убийц. Разбойники беспрекословно повиновались своему главе и исполняли любые его приказы без рассуждений. Никакая опасность не пугала их, даже верная смерть. По одному знаку своего повелителя они бросались вниз с высокой башни или шли убивать какого-нибудь царя прямо к нему во дворец, несмотря на стражу.

Но каким образом мог добиться Старик Гор столь полного повиновения?

Он обладал рецептом одного чудесного снадобья, которое наделяет человека ослепительными галлюцинациями.

Человек, отведавший его хоть раз, находил после своего пробуждения реальную жизнь до того бесцветной и унылой, что с радостью жертвовал ею, лишь бы снова попасть в мир своих грез. Шейх же говорил, что каждый, кто погиб при исполнении его повелений, попадает в рай, а избежавший гибели снова наслаждался таинственным снадобьем.

Зеленоватое тесто, которым оделял нас доктор, и было то самое зелье, которым Старик Гор незаметно одурманивал своих приверженцев, заставляя их верить, что его могуществу подвластен даже Магометов рай с его гуриями трех степеней. Это был гашиш. Отсюда происходит слово гашишист, то есть употребляющий гашиш. Оно одного корня со словом убийца — assassin. Кроважадные инстинкты подданных Старика Гор оправдывают это дикое название.

Я уверен, что людям, видевшим, как я выходил из дома в обеденный час, не могло даже прийти в голову, что я еду на патриархальный остров святого Людовика, чтобы отведать там таинственного зелья, посредством которого несколько веков назад мошенник-шейх заставлял своих приверженцев совершать преступления и убийства. Моя буржуазная наружность не делала даже намека на такую ориентальную извращенность. Я был больше похож на почтительного племянника, собравшегося пообедать у своей старой тетушки, чем на верующего, готовящегося насладиться блаженством Магометова рая в обществе двенадцати арабов чистейшей французской крови.

Конечно, если бы вам сказали, что в 1845 году, в эту эпоху биржевых игр и железных дорог, существовал клуб гашишистов, истории которого не написал г-н де Гаммер, вы бы этому не поверили, а между тем это истинная правда, хотя, как это часто случается с истиной, она и кажется невероятной.

Пирушка

Наша трапеза была сервирована причудливо и живописно. Вместо рюмок, бутылок и графинов стол был уставлен большими стаканами венецианского стекла с матовым спиралевидным узором, немецкими бокалами с гербами и надписями, фламандскими керамическими кружками, оплетенными тростником и бутылками с хрупкими горлышками.

Здесь не было ни фарфора Луи Лебефа, ни английского разрисованного фаянса, обычно украшающих буржуазный стол. Ни одна тарелка не была похожа на другую, но каждая из них представляла собою ценность: Китай, Япония и Саксония представили здесь образцы самых красивых своих блюд, самых ярких своих красок. Все это, правда, было несколько отбито и потрескалось, но указывало на тонкий вкус хозяев.

Блюда были большей частью покрытые глазурью, работы Бернара Палисси или лиможского фаянса; иногда нож, разрезая кушанье, скользил по выпуклому изображению пресмыкающегося, лягушки или птицы. Лежащий на тарелке угорь сплетал свои изгибы с кольцами украшавшей тарелку змеи.

Честный филистер, наверное, испытал бы некоторый страх при виде этих сотрапезников, волосатых, бородатых и усаемых или же странно выбритых, размахивающих кинжалами XVI столетия, малайскими криссами, испанскими навахами. Согнувшиеся над столом и освещенные мерцающим светом ламп, они действительно представляли странное зрелище.

Ужин близился к концу, иные из адептов уже чувствовали действие зеленого теста, а на мою долю выпало полное извращение чувства вкуса. Я пил воду, а мне казалось, что это великолепное вино, мясо превращалось в малину и обратно. Я не мог отличить котлеты от персика.

Мои соседи делались все оригинальнее; на их лицах вдруг появлялись огромные совиные глаза, носы удлинялись и

превращались в хоботы, рты растягивались, делаясь похожими на щель бубенчика. Цвет их лиц приобрел неестественные оттенки. Один из них, бледнолицый и чернобродый, раскатисто хохотал, наслаждаясь каким-то невидимым зрелищем; другой делал невероятные усилия, чтобы поднести ко рту стакан, и его судорожные движения вызывали оглушительный вой окружающих.

Третий с невероятной быстротой вертел большими пальцами, а четвертый, откинувшись на спинку кресла, с блуждающими глазами и бессильно повисшими руками, сладострастно утопал в безграничном море нирваны.

Опершись о стол локтями, я наблюдал за происходящим. Остаток моего рассудка то почти исчезал, то снова разгорался, точно готовый потухнуть ночник. Мои члены горели, и безумие, подобно волне, отступающей от скалы, чтобы снова накатить на нее и захлестнуть своей пеной, то охватывало мой мозг, то проходило и в конце концов прочно овладело им. Я начал галлюцинировать.

— В гостиную, в гостиную, — вдруг закричал один из гостей, — разве вы не слышите звуков небесного хора? Музыканты уже давно ждут!

Действительно, сквозь шум разговоров до нас доносилась дивная музыка.

Незванный гость

Гостиная была огромная комната с белыми и золочеными лепными украшениями, с расписным потолком, с фризами, разрисованными сатирами, преследующими в тростниках нимф, с большим мраморным камином и с широкими парчовыми портьерами, дышащими роскошью старинных времен. Мягкие диваны и кресла, очень широкие, по моде того времени, чтобы не мять пышных юбок герцогинь и маркиз, приняли гашишистов в свои гостеприимные объятия.

Усевшись подле камина, я полностью отдался власти магического зелья.

Прошло несколько минут, и мои сотоварищи исчезли один за другим, оставив на стене лишь свои тени. Впрочем, она их быстро поглотила: так вода уходит в песок, не оставляя мокрых пятен. Начиная с этого мгновения я перестал осознавать окружающее и буду описывать только мои личные впечатления.

Слабо освещенная гостиная была пуста, и вдруг красная молния сверкнула под моими веками, сами собой вспыхнули бесчисленные свечи, и я почувствовал, что утопаю в этом теплом свете. Я находился в той же комнате, но все вокруг изменилось, стало больше, богаче, пышнее. Действительность служила лишь отправной точкой для великолепной галлюцинации.

Я еще никого не видел, но уже чувствовал присутствие огромной толпы.

Я слышал шелест тканей, стук бальных башмачков, шепчущие, шепелявящие, сюсюкающие голоса, приглушенные взрывы смеха, шум передвигаемых столов и стульев. Доносился звон посуды, хлопанье дверей, вокруг происходило что-то необычайное. И вдруг показалось загадочное существо.

Не знаю, откуда оно взялось, но я не испугался. У него был изогнутый, как птичий клюв, нос, и он часто вытирал огромным платком свои зеленые, окруженные тремя темными кругами глаза. Высокий белый накрахмаленный галстук, в узел которого была продета визитная карточка со словами: — Давкус Карота из «Золотого горшка», — так крепко стягивал его тонкую шею, что кожа щек красными складками свисала на воротник. Черный сюртук, из-под которого виднелась связка брелоков, обтягивал его округлое тело, делая его похожим на каплуна. Что касается его ног, то вместо них были корни мандрагоры, разветвленные, черные, шероховатые, узловатые и бородавчатые. Казалось, они только что вырваны из земли: на их волоконцах еще виднелись кусочки приставшей к ним земли. Эти ноги как-то необыкновенно трепетали и скручивались. Когда малень-

кий торс, который они поддерживали, очутился против меня, странное существо вдруг разразилось рыданиями и, вытирая глаза, сказала мне жалобным голосом:

— Именно сегодня нужно умереть от смеха.

И крупные, как горох, слезы покатались по крыльям его носа.

— От смеха... от смеха... — эхом отозвался хор нестройных, гнусавых голосов.

Фантазия

Взглянув на потолок, я заметил множество головок без туловищ, как рисуют херувимов, но с такими забавными и счастливыми лицами, что я невольно развеселился. Делая гримасы, они так щурили глаза, растягивали губы и раздували ноздри, что могли рассмешить даже воплощение сплина. Эти смешные маски двигались и вертелись в разных направлениях, производя ослепительное головокружительное действие.

Вскоре гостиная наполнилась необыкновенными лицами, прототипами которых могли служить лишь офорты Калло да акватинты Гойи; мишура смешивалась здесь с живописными лохмотьями, человеческие образы со звериными. В другое время я бы испугался подобной компании, но в этих уродах не было ничего страшного. Их глаза сверкали не жестокостью, а лукавством, и лишь веселая улыбка открывала торчащие клыки и острые резцы.

Я сделался кем-то вроде короля этого праздника: каждое новое лицо вступало в светлый круг, центром которого был я, и с забавно-сокрушенным видом бормотало мне на ухо какую-нибудь шутку; ни одной из них я не могу вспомнить, но тогда они казались мне верхом остроумия и вызывали безумный смех.

С появлением каждого нового лица вокруг меня раздавались раскаты гомерического, олимпийского, безмерно-го, оглушительного хохота, который, казалось, гремел в бес-

конечности.

Поминутно слышались восклицания то визгливых, то замогильных голосов: — Нет, это слишком смешно! Довольно, довольно! Господи, какая прелесть! Еще, еще! Хватит, я больше не могу!.. Хо-хо-ху-ху-хи-хи! Какая удачная шутка! Какой прекрасный каламбур! Постойте! Я задохнусь! Не смотрите на меня так... или стяните меня обручами, не то я лопну!

Несмотря на эти полужутливые, полусерьезные мольбы, грозная веселость росла, шум усиливался, стены и пол дома поднимались и дрожали, как человеческая диафрагма, потрясенные этим неистовым, неукротимым, неумолимым смехом.

Теперь странные призраки напали на меня всей стаей, потрясая длинными рукавами шутовской одежды, путаясь в складках балахонов, сминая свои картонные носы, сталкиваясь, поднимая облака пудры со своих париков и фальшиво распевая нелепые песни с невозможными рифмами.

Здесь были все типы, созданные когда-либо вдохновенным юмором народов и отдельных личностей, но в десять, в сто раз более яркие. В этой невообразимой сутолоке неаполитанский пульчинелла фамильярно хлопал по горбу английского панча, бергамский арлекин терся своей черной мордочкой об осыпанную мукой маску французского паяца, выпускающего дикие крики, болонский доктор засыпал табаком глаза отца Кассандра, Тарталья скакал верхом на клоуне, Жиль угощал пинками дона Спавенто, Карагёз, вооруженный своим непристойным посохом, дрался на дуэли с шутлом Оском.

Дальше бесновались персонажи забавных снов, уродливые создания, безобразная помесь человека, животного и домашней утвари: монахи с колесиками вместо ног и котлом вместо живота, воины в латах из посуды и с птичьими лапами, размахивающие деревянными саблями, чинovníки, крутящиеся на вертеле, короли с башней в форме перечницы вместо ног, алхимики с мехами вместо головы и с членами в виде перегонного куба, развратницы, сделанные из тыквы с прихотливыми выпуклостями, и вооб-

ще все, что может создать лихорадочная фантазия циника, вдохновенного опьянением.

Все это шевелилось, ползало, бегало, прыгало, хрюкало, свистало, как в «Вальпургиевой ночи» Гете.

Я спрятался в темный угол, чтобы избежать чрезмерной любезности этих странных существ, и стал любоваться их танцами, которых не знало ни Возрождение времен Шикара, ни Опера времен владычества Мюзара, этого короля разнузданной кадрили. Эти плясуны, в тысячу раз более талантливые, чем Мольер, Рабле, Свифт и Вольтер, изображали посредством какого-нибудь антраша или балансе такие глубоко философские комедии или полные силы и пикантной соли сатиры, что я держался за бока в моем углу.

Давкус Карота, все время утирая глаза, выделял пируэты, немыслимые, особенно для существа, обладающего ногами из корня мандрагоры, повторяя при этом забавно жалостным тоном: — Сегодня нужно умереть от смеха!

О, вы, восхищавшиеся когда-либо великолепной тупостью Одри, хриплым вздором Алкида Тузе, самоуверенной глупостью Арналя, обезьяньими гримасами Равеля и думавшие, что видели настоящие комические маски, если бы вы присутствовали на этом балу, вдохновенном гашишем, вы бы признали, что с самых знаменитых комиков наших театров впору лепить украшения для катафалков и гробниц.

Сколько причудливо скорченных физиономий, сколько подмигивающих глаз, сверкающих насмешкой под птичьей пленкой! Какой оскал, словно щель копилки! Какие рты, точно вырубленные топором! Какие забавные двенадцатигранные носы! Какие толстые пантагрюэлевские животы!

В этом кишении веселого кошмара молниями мелькали чьи-то поразительно похожие портреты, карикатуры, которым позавидовали бы Домье и Гаварни; фантазии, способные восхитить чудесных китайских мастеров, этих Фидиев, изготавливающих болванчиков и фарфоровые статуэтки.

Эти видения не были ни уродливы, ни смешны, этот карнавал форм был полон грации. Около камина качалась

обрамленная светлыми волосами маленькая головка с персиковыми щеками. В своем бесконечной припадке веселости она показывала все тридцать два зуба, величиной с рисовое зерно, заливаясь при этом долгим, пронзительным, переливчатым серебристым смехом с трелями и органными нотами. Проникая в мои барабанные перепонки, хохот ее возбуждал меня, заставляя совершать массу сумасбродств.

Наконец, бешеное веселье достигло апогея, слышались лишь судорожные вздохи, несвязное клохтанье. Смех стал беззвучным и напоминал рычание, удовольствие переходило в спазмы, казалось, припев Давкуса Карота вот-вот сбудется.

Тела один за другим валялись на пол с той вялой тяжестью опьянения, которая делает падение неопасным, слышались восклицания: — Господи, как я счастлив! Какое блаженство! Я в экстазе! Я в раю! Я погрузился в бездну наслаждений!

Хриплые крики вырывались из стесненной груди, руки безумно простирались вслед какому-нибудь мимолетному видению, каблуки и затылки барабанили в пол. Настал момент брызнуть холодной водой на этот жгучий пар, иначе котел мог лопнуть. Человеческая оболочка, способная вынести сколь угодно горя, но не справляющаяся с избытком счастья, готова была разорваться под напором восторга.

Один из членов клуба, который по обычаю не участвует в сладострастном отравлении гашишем, чтобы следить за галлюцинациями остальных и не давать выброситься в окно тем, кто почувствовал за спиной крылья, подошел к пианино, откинул крышку и заиграл. Величественный, могучий аккорд сразу заглушил шум и изменил настроение окружающих.

Кейф

Он заиграл, кажется, арию Агаты из «Волшебного стрелка» и, как ветер разгоняет тучи, так и эта божественная ме-

лодия рассеяла причудливые видения моей галлюцинации. Маски, гримасничая, залезали под кресла, с приглушенными вздохами прятались в складки портьер, и я снова почувствовал себя одиноким в огромной гостиной.

Колоссальный фрибурский орган не издает таких могучих, величественных звуков, как это пианино под пальцами ясновидца (так называют трезвого члена нашего клуба). Музыка пылающими стрелами вонзалась мне в грудь и — странная вещь — скоро мне стало казаться, что мелодия исходит из меня. Мои пальцы скользили по невидимой клавиатуре, рождая звуки голубые, красные, подобные электрическим искрам. Душа Вебера воплотилась в меня.

Когда ария из «Волшебного стрелка» отзвучала, я продолжал собственные импровизации в духе немецкого композитора. Музыка привела меня в неописуемый восторг. Жаль, что магическая стенография не могла записать вдохновенных мелодий, звучавших у меня в ушах: при всей моей скромности могу их поставить выше шедевров Россини, Мейербера и Фелисьена Давида.

О, Пилле и Ватель! Любая из Тридцати опер, созданных мною в какие-нибудь десять минут, в полгода сделала бы вас богачами.

Первоначальная судорожная веселость сменилась неизъяснимо блаженным чувством безграничного покоя.

Этот период действия гашиша на востоке называют кейфом. Я перестал себя чувствовать, связь души с телом ослабла, и я мог свободно двигаться в не оказывающей сопротивление среде.

Мне кажется, что именно такова будет жизнь души, когда мы оставим нашу брентную оболочку и переселимся в другой мир.

Комната наполнилась голубоватым паром, отблеском лазурного грота, и в ней неясно трепетали смутные контуры. Эта атмосфера, одновременно свежая и теплая, влажная и благоухающая, охватывала меня, как вода в ванне, обессиливающей сладостью поцелуев. Если я хотел сдвинуться с места, ласкающий воздух образовывал вокруг меня тысячи сладострастных водоворотов, восхитительная истома ох-

ватывала мои чувства и клонила меня на диван, где я по-
ник без сил, как сброшенное платье.

И я понял тогда радость, которой наслаждаются свет-
лые духи и ангелы, рассекая своими крыльями горные вы-
си и райское блаженство.

Ничего материального не примешивалось к этому экс-
тазу, никакое земное желание не омрачало его чистоты. Впро-
чем, сама любовь чужда дивному состоянию: гашишист
Ромео забыл бы Джульетту, бедное дитя напрасно бы про-
стирало с балкона свои алебастровые руки, так как Ромео
не поднялся бы к ней по шелковой лестнице. И хотя я стра-
стно влюблен в идеал юности, созданный Шекспиром, я
должен сознаться: прекраснейшая дочь Вероны не заста-
вит гашишиста даже пошевелиться.

И я спокойно, хотя и не без удовольствия, любовался
вереницей идеально прекрасных женщин; я видел блиста-
ние атласных плеч, сияние серебристых грудей, мелькание
маленьких ножек с розовой ступней, не испытывая при
этом ни малейшего искушения. Очаровательные призраки,
смущавшие святого Антония, не имели надо мной ни ма-
лейшей власти.

Созерцая какой-либо предмет, я через несколько минут
чудесным образом растворялся в нем и сам превращался в
него.

Так я превратился в нимфу, глядя на фреску, изобра-
жающую дочь Ладона, преследуемую Паном.

Я испытывал весь ее ужас и старался спрятаться в тро-
стнике, чтобы избежать чудовища с козлиными ногами.

Кейф превращается в кошмар

Во время моего экстаза снова появился Давкус Карота.

Сидя как портной или паша на своих скрещенных кор-
нях, он глядел на меня пылающим взглядом, его клюв так
язвительно щелкал, такое торжество светилось в его ма-
ленькой, безобразной фигурке, что я невольно вздрогнул.



Заметив мой испуг, он удвоил свои кривлянья и гримасы и, прыгая как искалеченный паук, приблизился ко мне.

В этот момент какое-то холодное дуновение коснулось моего уха, и я услышал очень знакомый голос, хотя и не мог вспомнить, кому он принадлежит. Он сказал: этот бездельник Давкус Карота, который пропил свои ноги, подтибрил у тебя голову и посадил на ее место не ослиную, как это сделал Пэк с Боттомом, а слоновую.

Сильно заинтересованный этим сообщением, я подошел к зеркалу и увидел, что это правда.

Теперь меня вполне можно было принять за какого-нибудь индусского или явайского идола: мой лоб поднялся, нос удлинился в хобот и загнулся на грудь, уши хлопали о плечам и вдобавок ко всему этому я оказался цвета индиго, как голубой бог Шива.

Взбешенный, я бросился к Давкусу Кароте, который запрыгал и завизжал, видимо, сильно испуганный. Но я схватил его и так сильно ударил о край стола, что он тут же вернул мне мою голову, завернутую в платок.

Довольный своим успехом, я снова сел на диван, но тот же голос опять заговорил:

— Берегись, ты окружен врагами, невидимые силы стараются овладеть тобой. Ты здесь пленник и увидишь это, если попробуешь выйти отсюда!

Тогда туман, окутывавший мое сознание, порвался, и я ясно понял, что члены клуба были кабалисты и маги, которые решили меня погубить.

Tread-mill

Я с большим трудом встал и направился к двери гостиной. Дошел я до нее очень нескоро: какая-то непонятная сила заставила меня делать три шага вперед и один назад. По моему счету этот переход длился десять лет.

За мной следовал Давкус Карота, посмеиваясь и бормоча с видом притворного сочувствия:

— Если он все время будет так идти, то успеет собраться в пути.

Однако мне удалось выйти в соседнюю комнату, которая неузнаваемо изменилась — она становилась все длиннее, длиннее и длиннее. Свет, мерцающий в ее конце, казался таким же далеким, как неподвижные звезды.

Чувствуя, что падаю духом, я остановился, но голос снова сказал мне, почти коснувшись губами моего уха:

— Мужайся, она ждет тебя в одиннадцать часов.

Собрав все силы, я огромным усилием воли старался поднимать ноги, которые прирастали к полу, и мне приходилось всякий раз вырывать их, как корни из земли. Чудовище с мандрагоровыми ногами не отставало от меня, пародируя мои усилия и повторяя заунывным голосом: — Мрамор побеждает, мрамор побеждает! — Я и вправду чувствовал, что мои конечности каменеют и мрамор сковывает меня до бедер, как Дафну в Тюильри. Я сделался статуей от пояса и ниже, как околдованные принцы из «Тысячи и одной ночи». Мои отяжелевшие каблуки громко стучали по полу, я смело мог играть Командора в «Дон-Жуане».

Между тем я вышел на полуосвещенную площадку лестницы и хотел спуститься по ней. Она поразила меня своими гигантскими размерами. Один из ее концов, казалось, вонзался в небо, другой низвергался в преисподнюю. Подняв голову, я смутно видел, как нагромождались одна на другую бесчисленные площадки, входы, перила, точно для того, чтобы достигнуть вершины башни Лилак; опуская же голову, я смутно различал пропасть ступенек, вихрь спиралей, водоворот изгибов.

— Эта лестница, верно, пробуравливает насквозь всю землю, — говорил я, машинально подвигаясь вперед, — я достигну нижней площадки после страшного суда.

Лица на картинах сочувственно глядели на меня, по некоторым из них пробегали судороги, как по лицу немого, который хочет сообщить что-то важное, но не может этого

сделать. Можно было подумать, что они хотят предупредить меня о какой-то опасности, но какая-то инертная, немолчаливая сила гнала меня вперед. Ступеньки лестницы оседали вместе со мной, точно в испытаниях франкмасонов. Липкие и мягкие камни опускались, как животы жаб. У меня под ногами появлялись все новые ступеньки и площадки, те, что я уже миновал, вдруг сами собой оказывались передо мной.

Это длилось, по моему счислению, ровно тысячу лет.

Наконец я достиг вестибюля, где меня ждали новые испытания.

Химера со свечой в лапах, которую я заметил при входе, с явно враждебным намерением преградила мне путь; ее зеленые глаза сверкали насмешкой, рот свирепо ощерился. Она почти на брюхе подползла ко мне, влача в пыли свою бронзовую попону. Это не была покорность, кроваво-жадные содрогания колебали ее львиный круп, а Давкус Карота дразнил ее и натравливал:

— Куси, куси, мраморное мясо — лучшее угощение для бронзовой пасти!

Но держа себя крепко в руках, я заставил себя перешагнуть через страшного зверя.

Порыв холодного ветра ударил мне в лицо, и передо мной засияло ясное небо, похожее на огромную глыбу ляпис-лазури с золотой пылью бесчисленных звезд.

Чтобы передать впечатление, которое произвела на меня его мрачная архитектура, нужна игла, с помощью которой Пиранези бороздил блестящую чернь своих чудесных гравюр. Расширившийся до размеров Марсова поля, этот двор окружился за несколько часов гигантскими зданиями, которые вырисовывались на горизонте кружевом шпилей, куполов, башен и пирамид, достойных Рима и Вавилона.

Моему удивлению не было границ, я даже и не подозревал, что на острове Святого Людовика столько архитектурных богатств, что они могли бы занять в двадцать раз большую площадь. И я не без страха думал о могуществе волшебников, которые могли в один вечер воздвигнуть подобные громады.

— Ты во власти иллюзий, — снова прошептал прежний голос, — этот двор совсем невелик. В нем двадцать семь шагов в длину и двадцать пять в ширину.

— Да, да, — проворчал ужасный выродок, — ты забыл прибавить: семимильных шагов. Тебе нипочем не успеть к одиннадцати часам. Уже полторы тысячи лет прошло с тех пор, как ты вышел. Голова твоя наполовину поседела. Вернись назад, это самое разумное.

И гнусное чудовище, видя, что я не хочу ему повиноваться, схватило меня своими гибкими ногами, и, помогая себе руками, как крючками, потащило меня назад. Оно заставило меня подняться по лестнице, где я только что потерпелся страхов, и к моему горю снова водворило в гостиную, откуда я с таким трудом выбрался.

Разум мой помутился. Безумный бред охватил меня.

А Давкус Карота, подпрыгивая до потолка, говорил:

— Вот дурак, ведь я, прежде чем возвратить ему голову, вычерпал из нее ложкой весь мозг.

Я ощупал свою голову и почувствовал, что она открыта, и пал духом.

Затем я потерял сознание.

Не верьте хронометрам

Придя в себя, я увидел, что комната полна людей, одетых в черное. Они печально пожимали друг другу руки, как люди, разделяющие общее горе.

— Время умерло, — говорили они. — Больше уже не будет ни годов, ни месяцев, ни часов. Время умерло, и мы должны его похоронить.

— Правда, оно было уже очень старо, но я не ожидал такой скорой развязки: оно чувствовало себя великолепно для своего возраста, — прибавил господин, в котором я узнал одного художника.

— Вечность уж слишком одряхлела. Должен же был прийти конец, — подхватил третий.

— Господи, — воскликнул я, пораженный внезапной мыслью, — если времени больше не существует, когда же будет одиннадцать часов?

— Никогда, — загремел Давкус Карота, бросая мне в лицо свой фальшивый нос и показываясь наконец в настоящем виде. — Никогда... Теперь навсегда останется девять часов с четвертью. Стрелка будет стоять на той минуте, когда умерло время, и твоя казнь состоит в том, что ты вечно будешь приходить смотреть на нее и не успокоишься, пока тебе будут повиноваться ноги.

И действительно, я раз пятьсот подходил к часам, точно меня толкала какая-то невидимая сила.

Давкус Карота, сидя верхом на часах, делал мне ужасные гримасы.

Стрелка не двигалась.

— Негодяй, это ты остановил маятник, — закричал я, пьяный от бешенства.

— Ничего подобного, он качается, как всегда, но солнца рассыпаются в прах, прежде чем стрелка подвинется хотя бы на одну миллионную миллиметра.

— Однако я вижу, что пора заклясть злых духов, настроение переходит в сплин, — сказал ясновидец. — Нужно еще музыки. На этот раз Давидову арфу заменит рояль Эрара.

И он заиграл веселую мелодию.

Человеку-мандрагоре она показалась не по вкусу, он стал уменьшаться, сплющиваться, обесцветился, испуская невнятные стоны, затем, потеряв человеческий облик, повалился на паркет, превратившись в испанский козелец с раздвоенным корнем.

Чары рассеялись.

Но что это; детские радостные голоса кричали:

— Аллилуйя, время воскресло! Посмотри-ка на часы!..

Стрелка показывала ровно одиннадцать часов.

— Сударь, карета вас ждет, — сказал слуга. Сон был кончен.

Гашишисты расходились по домам, словно офицеры после погребения Мальбрука.

Я тоже легким шагом спустился с лестницы, причинившей мне ночью столько мучений, и через несколько минут был у себя в здравом уме и твердой памяти; последние пары гашиша рассеялись.

Мой рассудок (или то, что я называю этим именем, за неимением другого термина) снова возвратился ко мне, и ясность его была такова, что я мог дать полный отчет о какой-нибудь пантомиме или водевиле, или же сочинять стихи.



Ш. Бодлер

ПОЭМА ГАШИША

ШАРЛЬ БОДЛЭРЪ
ИСКАНІЯ РАЯ
~~~~~**ПЕРЕВОДЪ**  
**В. ЛИХТЕНШТАДТА**

**1908**

*Мой милый друг*

здравый смысл говорить нам, что все земное мало реально и что истинная реальность вещей раскрывается только в грезах. Наслаждаться счастьем, естественным или искусственным, может только тот, кто имеет решимость принять его; но для тех, которые по истине достойны высшего счастья, — благополучие, доступное смертным, всегда казалось тошнотворным.

Люди ограниченные сочтут странным и, быть может, даже дерзким, что книга об искусственных наслаждениях посвящается женщине — самому естественному источнику самых естественных наслаждений. Однако, нельзя отрицать, что подобно тому, как реальный мир входит в нашу духовную жизнь, являясь материалом для нее, и, таким образом, способствуя образованию того неопределимого сплава, который мы называем нашей личностью, — так и женщина входит в наши грезы, то окутывая их глубоким мраком, то озаряя ярким светом.

Впрочем, не все ли равно, будешь ли понятно другим это посвящение? Разве, для удовлетворения автора, непременно нужно, чтобы книга его была понята кем-нибудь — кроме того или той, для кого она написана? Да и наконец, неужели уж так необходимо, чтобы она была написана для кого-нибудь? У меня, например, так мало влечения к живым существам, что подобно праздным и чувствительным женщинам, посылающим свои излияния воображаемым приятельницам — я хотел бы писать только для умерших.

Но эту книжку я посвящаю не мертвой: — та, к которой я обращаюсь, — хотя больная — всегда деятельна, всегда жива в моей душе, и мысли ее обращены теперь к Небу, этому источнику всех просветлений. Ибо человеческое существо обладает особенным даром извлекать,

— как лекарство из опаснейших ядов, — целый ряд новых и самых тонких наслаждений даже из страдания, бедствия и роковою несчастья.

Ты увидишь в этих набросках одинокого, угрюмого путника, затерявшегося в подвижных волнах толпы и уносящегося сердцем и мыслью к далекой Электре, которая так недавно еще отирала пот с ее чела и освежала ею лихорадочно запекшиеся губы — и ты поймешь благодарность Ореста, которого ты оберегала от кошмаров, рассеивая тихой материнской лаской его ужасные, мучительные сны.

III. Б.



## ПОЭМА ГАШИША

1. ВЛЕЧЕНИЕ К БЕСКОНЕЧНОМУ
2. ЧТО ТАКОЕ ГАШИШ
3. КИТАЙСКИЕ ТЕНИ
4. ЧЕЛОВЕК — БОГ
5. ВЫВОДЫ

## I. ВЛЕЧЕНИЕ К БЕСКОНЕЧНОМУ

Всем, которые умеют наблюдать самих себя и запоминать свои переживания, тем, которые сумели, подобно Гофману, установить свой духовный барометр, приходилось отмечать в обсерватории своих мыслей — ясные периоды, счастливые дни, чудесные минуты. Бывают дни, когда человек просыпается юный и мощный духом. Едва только веки его освобождаются от сна, смыкавшего их, как перед ним разворачивается внешний мир — в сильном рельефе, в удивительной ясности контуров и поразительном богатстве красок. Духовный мир также раскрывает ему свои необъятные владения, полные новых откровений. Человек, который находится в таком состоянии — к сожалению, редком и непродолжительном — чувствуете себя более одаренным, более справедливым, более благородным. Но самое удивительное в этом исключительном состоянии ума и чувств — состоянии, которое я, без преувеличения, могу назвать райским, если сравниваю его с тяжелой мглой пошлой повседневности, — самое удивительное в нем то, что невозможно уловить видимую и поддающуюся объяснению причину, вызывающую его. Быть может, оно является следствием особенного образа жизни, удовлетворяющего требованиям гигиены и мудрости? Это самое простое объяснение, которое приходит в голову; однако, приходится признать, что это необыкновенное состояние, это чудо, ниспосланное высшей, невидимой силой, лежащей вне человека, часто наступает именно после периода, когда человек злоупотребляет своими физическими способностями. Или, может быть, это награда за пламенную молитву и напряжение духовных сил? Несомненно, что упорная напряженность желания, устремление всех духовных сил к Небу — могли бы создать условия, наиболее благоприятствующие наступлению такого душевного здоровья. Но в силу какого нелепого закона наступает оно после самых преступных оргий воображения, после софистического злоупотребления разумом, ко-

торое отличается от честного, нормального мышления, как отличаются фокусы акробата от укрепляющей здоровье гимнастики? Что касается лично меня, то я нахожу более правильным рассматривать это ненормальное состояние духа, как истинную *благодать*, как дарованное чудом волшебное зеркало, в котором человек видит самого себя, но более привлекательным — таким, каким он мог бы и должен был бы быть всегда; это какое-то небесное опьянение, напоминание о гармонии в самой обаятельной форме. Существует школа спиритуалистов, имеющая своих представителей в Англии и в Америке, которая рассматривает сверхъестественные явления — привидения, призраки и т. д., как проявления божественной воли, желающей пробудить в душе человека воспоминание о невидимых реальностях.

В самом деле, это чудесное и своеобразное состояние, в котором уравниваются все способности, в котором воображение, несмотря на поразительную силу, не увлекает за собой в опасные странствования наши нравственные чувства, в котором повышенная чувствительность не страдает от больных нервов, этих неизменных руководителей преступления или отчаяния, — это необыкновенное состояние не имеет предвестников. Оно является внезапно, как привидение. Это точно внушение свыше, но внушение, периодически повторяющееся, — и если бы им обладали истинной мудростью, мы могли бы извлечь из него уверенность в существовании иной, лучшей жизни и надежду приблизиться к ней — путем упорного упражнения нашей воли. Эта острота мысли, этот экстаз ума и чувств во все времена казались человеку высшим благом: вот почему, стремясь только к непосредственному наслаждению, которое дает такое состояние, и не боясь насиловать законы своей природы, человек искал в естественных науках, в разных снадобьях, в самых грубых напитках и в самых тонких ароматах — искал во всех странах и во все времена — магического средства, которое дало бы ему возможность унести, хотя бы на несколько часов, из этой *юдоли праха* и — как говорит автор *Лазаря* — «мгновенно овладеть Раем». Ах, челове-

ские пороки, несмотря на все ужасы, которые мы в них усматриваем, доказывают (уже самой своей распространенностью) неудержимое влечение человека к Бесконечному... Но увы! влечение это часто сбивается с пути! Можно было бы воспользоваться, как метафорой, избитой поговоркой: *все дороги ведут в Рим* — и применить ее к духовному миру; все, в конце концов, ведет к награде или наказанию, этим двум формам вечности. Человеческий дух кипит страстями: их у него — употребляя другое тривиальное выражение — хоть отбавляй. Но этот несчастный дух, природная извращенность которого так же велика, как и его непосредственная, почти парадоксальная способность к милосердию и к самым суровым добродетелям — этот дух удивительно склонен к парадоксам, которые позволяют ему употреблять во зло избыток его необъятной страсти. Он никогда не желает продавать себя целиком. Но в своем ослеплении он забывает, что играет с более лукавым и более сильным, чем он сам, и что Дух Зла, получив один его волосок, завладеет его головой. И вот этот видимый Владыка видимого мира (я говорю о человеке) — захотел создать себе Рай при помощи фармацевтических средств и возбуждающих напитков, уподобляясь маньяку, который вздумал бы заменить солидную мебель и настоящие сады — рисунками на холсте, вставленными в рамы. Этим извращением влечения к Бесконечному и объясняются, по-моему, все преступные эксцессы — от уединенного, сосредоточенного опьянения писателя, который случайно прибег к опию для облегчения физических страданий и, открыв в нем источник убийственных наслаждений, сделал его светилом своего духовного мира и подчинил ему весь склад своей жизни, — до самого последнего пьяницы предместий, который с душой, объятый пламенем славы и величия, валяется в грязи на проезжей дороге... Среди веществ, способных создать то, что я называю *Искусственным Идеалом* — если не упоминать ни о спиртных напитках, сразу приводящих в буйное состояние силы телесные и парализующих духовную силу, ни об ароматах, слишком частое употребление которых хотя и создает более утонченную фантазию, но постепенно истощает

физические силы, — наиболее действительными являются *гашиш* и *опий*; их сравнительно легко достать, и обращаться с ними не затруднительно. В этом очерке я намерен исследовать таинственные явления и болезненные наслаждения, вызываемые этими веществами, рассмотреть неизбежные последствия, которые влечет за собою их продолжительное употребление и, наконец, указать на моральное зло, вытекающее для человека из столь опасного преследования ложного идеала. У нас есть уже обстоятельное исследование об *опии* — научное и вместе с тем поэтическое, и столь блестящее, что я не решился бы прибавить к нему что-либо. Я ограничусь тем, что в одном из следующих очерков остановлюсь на этой книге, которая целиком никогда не была переведена во Франции. Автор ее, человек известный, обладающий сильным и очень тонким воображением, удалившийся от мира и живущий в тихом уединении, поведал нам с трагической правдивостью о тех наслаждениях и терзаниях, которые он в былые дни находил в опиумном опии. Самая драматическая часть его книги — это рассказ о тех сверхчеловеческих усилиях воли, которые ему пришлось употребить, чтобы избавиться от проклятия, которое он так неосторожно сам навлек на себя.

В настоящем очерке я буду говорить только о *гашише*, пользуясь многочисленными исследованиями, извлечениями из записок и признаний образованных людей, более или менее долгое время употреблявших его. Я собираюсь объединить в моем труде все эти документы и представить их в виде монографии, останавливаясь для этой цели на возможно менее сложной душе, проявления которой нетрудно было бы уловить и объяснить, — как на типе, наиболее удобном для такого рода экспериментов.

## II. ЧТО ТАКОЕ ГАШИШ?

Рассказы Марко Поло, над которым напрасно издевались, как и над многими другими древними путешественниками, были проверены известными учеными и оказалось, что они вполне заслуживают нашего доверия. Я не буду выписывать его рассказа о том, как Старец с Горы опьянял гашишем (отсюда название Гашишины или Ассасины) и запирали в чудесный сад тех из своих юных учеников, которым он — в награду за покорность и послушание — хотел дать представление о Рае. Читатель может найти указания относительно тайного общества Гашишин в книге де Ганмера и в записках Сильвестра де Саси, помещенных в XVI томе «*Memoires de l'Academie des Inscriptions et Belles-Lettres*», а относительно этимологии слова *Assassin* в его письме к редактору *Moniteur'a*, помещенном в № 359 за 1809 г. Геродот сообщает, что скифы сгребали в кучи конопляное семя, кидали на них раскаленные на огне камни и таким путем получали паровую баню, более душистую, чем любая греческая ванна; и наслаждение, доставленное ею, было так велико, что оно исторгало у них крики радости.

*Гашиш*, действительно, перешел к нам из дальнего Востока; возбуждающие свойства конопли были хорошо известны древнему Египту; в Индии, в Алжире, в счастливой Аравии она — под разными названиями — пользовалась широким употреблением. Но и у нас наблюдаются довольно часто любопытные случаи опьянения растительными выделениями. Известно, что дети, повалявшись в кучах скошенной люцерны, испытывают странное головокружение; известно также, что во время жнитва конопли работники — мужчины и женщины — страдают такими же головокружениями, словно от жатвы поднимаются миазмы, коварно затуманивающие мозги работников. В голове жнеца несутся вихри, иногда являются сновидения. По временам члены ослабевают и отказываются повиноваться. Мы слыша-

ли о сомнамбулических явлениях, довольно часто наблюдаемых среди русских крестьян и, как говорят, вызываемых употреблением конопляного масла при изготовлении пищи. Кто не знает странного поведения кур, поевших конопляного семени, или сильного возбуждения, наступающего у лошадей, съевших порцию конопли, иногда политую вином, которую крестьяне дают им для возбуждения перед скачкой с препятствиями на деревенских празднествах?

Однако, несмотря на многочисленные опыты, из французской конопли не удалось получить гашиша; или, вернее, из нее не удалось получить вещества, равного по силе гашишу. Гашиш или *индийская конопля*, *Canabis indica*, — растение из семейства крапивных, — отличается от конопли нашего климата только тем, что стебель ее никогда не достигает такой высоты, как стебель нашей конопли. Индийская конопля обладает необыкновенно сильной опьяняющей способностью, которая в последние годы и во Франции привлекла к себе внимание ученых и светского общества. Ценится она различно, смотря по своему происхождению; выше других ценится любителями бенгальская конопля; впрочем, египетская, константинопольская, персидская и алжирская обладают теми же свойствами, но в более слабой степени.

*Гашиш* (что значит *Трава*, т. е. трава по преимуществу, как если бы арабы соединяли с этим словом представление о всех нематериальных наслаждениях, источником которых может быть трава) носит разные названия, смотря по своему составу и в зависимости от способа приготовления его в той стране, где он растет: в Индии он называется *банжи*, в Африке — *терияки*, в Алжире и в Счастливой Аравии — *маджунд* и т. д. Весьма важно знать, в какое время года собирать его; наибольшей силой он обладает во время цветения, — для тех препаратов, на которых мы должны остановиться, употребляются только цветущие верхушки индийской конопли.

*Жирный экстракт* гашиша получается (так готовят его арабы) кипячением верхушки свежего растения в масле с небольшим количеством воды; прокипятив смесь

до полного испарения воды, получают вещество, имеющее вид помады, зеленовато-желтого цвета, и издающее неприятный запах, — запах гашиша и прогорклого масла. В таком виде, в шариках от двух до четырех грамм каждый, его и употребляют; но ввиду его отвратительного запаха, который при хранении его еще усиливается, арабы приготовляют из этого экстракта варенье.

Самое распространенное варенье такого рода — *dawamesk* — представляет смесь жирного экстракта, сахара и различных ароматичных веществ, как-то: ванили, корицы, фисташек, миндаля, мускуса. Иногда прибавляют даже немного препарата шпанской мухи — с целью, не имеющей никакого отношения к обычному действию гашиша. В таком виде гашиш не представляет ничего неприятного, и его можно принимать дозами в пятнадцать, двадцать, тридцать грамм, завернув его в облатку или распустив в чашке кофе.

Опыты, сделанные Смитом, Гастинелем и Декуртивом, имели главным образом целью получить из гашиша то вещество, которое придает гашишу его опьяняющие свойства. Несмотря, однако, на все их усилия, химический состав этого вещества так и не удалось определить; установлено только, что характерные свойства гашиша принадлежат смолистому веществу, которое содержится в нем в довольно значительном количестве (около 10 %). Чтобы получить эту смолу, высушенное растение превращают в порошок, промывают спиртом и подвергают выпариванию до известной плотности; полученный экстракт промывается водой, которая растворяет посторонние примеси; остается чистый *гашишин*.

Это вещество мягкое, темно-зеленого цвета, с сильно выраженным, характерным запахом гашиша. Пяти, десяти, пятнадцати сантиграмм достаточно, чтобы получить удивительные эффекты. Вещество это, которое принимается в виде шоколадных пастил или имбирных пилюль, производит — подобно давамеску и жирному экстракту — различные по силе и характеру эффекты — в зависимости от темперамента и нервной организации субъекта. Мало того,



действие его на одного же субъекта неодинаково при разных условиях. Иногда он приводит к безумной и неудержимой веселости, иногда — к ощущению радости и полноты жизни, иногда — к тревожному сну, прерываемому сновидениями. Однако, известные явления повторяются довольно правильно, особенно у людей, сходных по темпераменту и воспитанию; существует какое-то единство в этом разнообразии, что и дает мне возможность набросать эту монографию об опьянении, о которой я только что упоминал.

В Константинополе, в Алжире и даже во Франции некоторые люди курят гашиш, смешанный с табаком; но при этом явления, о которых идет речь, происходят в более слабой, так сказать, вялой форме. Я слышал, что недавно, путем перегонки, стали извлекать из гашиша эфирное масло, по-видимому, обладающее несравненно более сильными опьяняющими свойствами, чем все до настоящего времени полученные препараты; но так как оно еще не вполне исследовано, я не буду останавливаться на его действии. Нужно ли упомянуть еще, что чай, кофе и спиртные напитки являются могущественными вспомогательными средствами, более или менее ускоряющими наступление этого таинственного опьянения?

### III. КИТАЙСКИЕ ТЕНИ

Что испытываешь при этом? Что видишь? Чудесные вещи, не правда ли? Необыкновенные зрелища? Это красиво? страшно? опасно? — вот вопросы, которые непосвященные обыкновенно задают адептам — с любопытством, не лишенным некоторого страха. Такую же ребяческую жажду знания обнаруживают люди, никогда не покидавшие своего угла, при встрече с человеком, возвращающимся из далеких, незнакомых стран. Они отождествляют опьянение гашишем с чудесной страной, с обширным театром, где действуют факиры и жонглеры, где все полно чудес и непредвиденностей. Но это предрассудок, глубокое заблуждение. И так как большинство читателей и любопытных связывают слово «гашиш» с представлением об удивительном хаотическом мире, с ожиданием волшебных снов (или, вернее, галлюцинаций, которые, впрочем, встречаются реже, чем предполагают), то я отмечу тут же весьма существенное различие между явлениями, вызванными действием гашиша, и явлениями нормального сна. Сон — это полное приключений путешествие, предпринимаемое каждый вечер — поистине включает в себе нечто чудесное; это — чудо, правильное повторение которого разрушило его таинственность. Сны наши бывают двух различных категорий: одни, тесно связанные с обыденной жизнью человека, его заботами, желаниями и пороками, слагаются более или менее причудливым образом из всего того, что он пережил за истекший день и что случайно закрепилось на обширном поле его памяти. Это — естественный сон, это — выражение самого человека. Но сон другой категории! Сон нелепый, неожиданный, не имеющий никакой связи с характером, с жизнью и страстями спящего! Этот сон, который я назову иероглифическим, знаменует, очевидно, сверхъестественную сторону жизни, и потому именно, что он нелепо-непонятен, древние признавали его божественным. Не находя для него естественных объяснений, они поды-

скивали причину, лежащую вне человека; и даже в настоящее время, не говоря уже о снотолкователях, существует школа философов, которая находит в такого рода сновидениях — то упреки, то наставления; в общем — нравственно-символическая картина, возникающая в уме спящего человека. Это — словарь, который нужно изучить, таинственный язык, ключ к которому могут найти только мудрецы.

В опьянении гашишем нет ничего подобного. Мы не выйдем за пределы естественного сна. Весь период опьянения является, правда, одним непрерывным, необъятным сном благодаря силе красок и быстроте концепций; но оно все время сохраняет индивидуальную окраску данного лица. Человек ищет сна, сон овладевает человеком, но этот сон будет настоящим сыном своего отца. Пребывая в бездействии, человек искусственным путем вводит сверхъестественное в свою жизнь и в свое мышление; но несмотря на этот внешний, случайный подъем его чувств, он остается тем же человеком, тем же числом, лишь возведенным в очень высокую степень. Он поработен; но, к несчастью, поработен самым собою, той частью своего я, которая господствовала в нем; *он захотел сделаться ангелом — и стал зверем*, в данный момент могущественным зверем, если только можно назвать могуществом чрезмерную чувствительность при отсутствии воли, сдерживающей или направляющей ее.

Пусть же светские люди, непосвященные, желающие ознакомиться с этими исключительными наслаждениями, твердо запомнят, что они не найдут в гашише ничего чудесного, ничего, кроме чрезвычайно яркой действительности. Мозг и весь организм, на которые действует гашиш, дают только свои обычные, индивидуальные проявления, правда, более интенсивные как по своему количеству, так и по своей силе, но всегда верные своему происхождению. Человек не может освободиться от фатального гнета своего физического и духовного темперамента: для чувств и мыслей человека гашиш будет лишь зеркалом — зеркалом увеличивающим, но совершенно гладким.

Вот перед вами это вещество: комочек зеленой массы в виде варенья, величиной с орех, со странным запахом, возбуждающим некоторое отвращение и даже позыв к тошноте, — что, впрочем, вызывает даже самый тонкий запах, если довести до максимума его силу и, так сказать, уплотнить его. Я позволю себе заметить мимоходом, что это утверждение может быть превращено в обратное: самый противный, самый отталкивающий запах, быть может, способен был бы доставить удовольствие, если бы можно было довести до минимума его свойства и силу распространения... Итак, вот перед вами источник счастья! оно вмещается в чайной ложке, это счастье, со всеми его восторгами, его безумием и ребячеством. Вы можете без страха проглотить его: от этого не умирают. Ваши физические органы нисколько от него не пострадают. Впоследствии, слишком частое обращение к его чарам, быть может, ослабит силу вашей воли, быть может, понизит вашу личность; но кара еще так далека, и предстоящее разрушение организма так трудно предсказать с уверенностью! Чем же вы рискуете? завтра вы будете чувствовать только слабость, нервное утомление. Разве вы не подвергаетесь ежедневно более тяжким терзаниям из-за менее заманчивой награды? Итак, это решено: вы разводите вашу порцию жирного экстракта в чашке кофе, чтобы придать ему больше силы и обеспечить более быстрое всасывание; необходимо позаботиться о том, чтобы желудок ваш был свободен, откладывая ваш обед до девяти или до десяти часов вечера; нужно предоставить яду полную свободу действия; в крайнем случае, вы подкрепитесь через час после приема чистым супом. Теперь вы достаточно подкреплены для столь далекого и необычайного путешествия. Свисток дан, паруса натянуты, и вы пользуетесь перед другими путешественниками тем удивительным преимуществом, что сами не знаете, куда едете. Ведь вы хотели этого: да здравствуют роковые силы!

Я полагаю, что вы позаботились выбрать благоприятный момент для этого фантастического путешествия. Полнота оргии возможна только при полной свободе. Вы должны иметь в виду, что в гашише, как в увеличительном зер-

кале, принимает чудовищные размеры не только сам находящийся в его власти, но и все окружающее его, обстоятельства и среда; у вас не должно быть ни обязанностей, требующих срочного и точного исполнения, ни семейных забот, ни любовных терзаний. Не нужно забывать этого. Заботы, беспокойство, воспоминание об обязанностях, угнетающих вашу волю и ваше внимание, будут звучать среди наших приключений точно погребальный звон и отравят вам ваше удовольствие. Беспокойство превратится в какой-то страх, печаль — в муку. Если все эти предварительные требования соблюдены, если стоит хорошая погода, если вы находитесь в благоприятных условиях, например, среди живописной природы или в поэтически обставленном помещении, если притом вы имеете возможность слышать музыку, то у вас есть все, чего можно пожелать.

В опьянении гашишем наблюдаются обыкновенно три легко различимые фазы, и первые симптомы первой фазы представляют у новичков необыкновенно любопытное зрелище. Вам приходилось, вероятно, слышать рассказы о чудесном действии гашиша; ваше воображение заранее создало представление о каком-то идеальном состоянии опьянения; вы с нетерпением ждете, будет ли соответствовать действительность вашим ожиданиям. Этого достаточно, чтобы с самого начала уже вызвать у вас беспокойство, весьма благоприятное для подчинения вас завоевательным наклонностям яда. Большинство новичков в первой фазе этого посвящения жалуются на медленность действия гашиша; они ждут его с ребяческим нетерпением, и когда ожидаемые явления не наступают, они начинают издеваться и изливать свое неверие, очень забавное для старых ветеранов, которым хорошо знакомы все фазы действия гашиша. Первые признаки, подобно симптомам давно ожидаемой грозы, появляются и разрастаются на фоне этого самого неверия. Прежде всего вами овладевает какая-то веселость, бессмысленная и неудержимая. Эти приступы беспричинной веселости, которых вы почти стыдитесь, упорно повторяются, сменяясь приступами оцепенения, во время которых вы тщетно пытаетесь сосредоточиться. Самые простые слова,

самые обыденные представления принимают какую-то новую и крайне странную окраску; вас поражает даже, что вы не замечали этого раньше и находили их такими простыми. В вашем мозгу непрерывно создаются самые несообразные, самые непредвиденные ассоциации и сопоставления, бесконечная игра слов, полные комизма сцены. Демон окончательно овладел вами; бесполезно бороться против этой веселости, мучительной, как щекотка. Время от времени вы смеетесь над собою, над собственной глупостью и безумием, и ваши сотоварищи, если они у вас есть, также будут смеяться над вашим состоянием — и над своим собственным; но, так как они смеются добродушно, то вы не сердитесь на них. Эта странная веселость — то затихающая, то вновь вспыхивающая, эта радость, смешанная с болью, эта неуверенность, нерешительность болезни длится обыкновенно недолго. Вскоре связь между идеями становится так слаба, общая нить, руководящая вашими восприятиями, так трудно уловима, что разве только ваши сотоварищи в состоянии понимать вас. Но и это нет никакой возможности проверить: быть может, им только кажется, что они понимают вас, и заблуждение это обоюдное. Все эти безумства, эти взрывы хохота производят на зрителя, не охваченного опьянением, впечатление настоящего сумасшествия или какой-то дикой забавы маньяков. Точно так же благоразумие трезвого свидетеля, правильное течение его мысли забавляют и развлекают вас, как проявления особенной формы безумия. Вы обменялись ролями. Его хладнокровие толкает вас к самой резкой иронии. Не правда ли, что положение человека, охваченного безумной веселостью, непонятно для того, кто не находится в таком же состоянии, — глубоко комично? Безумный начинает смотреть с жалостью на разумного, и с этого момента идея собственного превосходства появляется на горизонте его интеллекта. Идея эта будет развиваться, расширяться, вспыхивать, как метеор.

Я был свидетелем подобной сцены, в которой действующие лица зашли довольно далеко; но смешная сторона ее была видима только тем, кто был знаком, хотя бы по на-

блюдениям над другими, с действием гашиша и с той огромной разницей душевного диапазона, которую он создает между двумя людьми, приблизительно равными в нормальном состоянии. Известный музыкант, совершенно незнакомый со свойствами гашиша, попадает в общество, где несколько человек уже приняли гашиш. Ему стараются объяснить чудесное действие этого вещества. В ответ на эти удивительные рассказы, он томно и любезно улыбается, как человек, желающий немного порисоваться. Но чувства их обострены действием яда; они насквозь видят его внутреннюю усмешку и отвечают ему оскорбительным смехом. Эти взрывы радости, эта игра слов, эти искаженные лица, вся эта нездоровая атмосфера раздражает его, заставляет его, быть может даже против воли, заявить им, что все это — довольно плохие шутки и, вероятно, утомительные для самих шутников. Точно блеском молнии, все лица озаряются комизмом. Веселость удвоилась. «Эта шутка, быть может, доставляет удовольствие вам, — говорит он, — но мне нисколько». — Вполне достаточно, чтобы она доставляла удовольствие нам, — отвечает кто-то с присущим больному эгоизмом. Не зная, имеет ли он дело с настоящими сумасшедшими или с симулирующими сумасшествие, наш герой полагает, что благоразумнее всего удалиться; но кто-то запирает двери и прячет ключ. Другой, опустившись перед ним на колени, просит у него прощения — от имени всего общества — и очень решительно, хотя и со слезами на глазах, заявляет ему, что все они, глубоко скорбя о его духовной ограниченности, тем не менее относятся к нему с искренней симпатией. Он покоряется и остается; он уступает даже настойчивым просьбам — усладить их своей игрой. Но звуки скрипки, разливаясь по зале, точно разносят новую заразу и *охватывают* (слово недостаточно сильно) — то одного, то другого больного. Раздаются хриплые вздохи, громкие рыдания, слезы текут ручьями. Изумленный скрипач останавливается и, подойдя к тому, который громче всех проявляет свой восторг, спрашивает, что с ним и чем можно помочь ему? Один из присутствующих, хорошо знакомый с этими явлениями, предлагает лимона-

да и кислоты. Но больной, охваченный экстазом, смотрит на обоих с невыразимым презрением. Лечить человека, который болен от избытка жизни, от безмерной радости!

Как видно из этого эпизода, какое-то удивительное благодущие окрашивает собой все другие чувства, вызываемые гашишем, — благодущие мягкое, ленивое, немое, обусловленное расслаблением всей нервной системы. В подтверждение этого наблюдения, я приведу рассказ одного лица, испытывавшего это состояние опьянения.

Рассказчик сохранил необыкновенно отчетливое воспоминание о всех своих ощущениях, и мне стало совершенно ясно, к какому нелепому и почти безвыходному положению привело его это несоответствие между его собственным настроением и окружающей средой. Не помню в точности, был ли это первый или второй опыт этого человека с употреблением гашиша. Принял ли он слишком большую дозу — или гашиш, без всякой видимой причины (что случается довольно часто), произвел более сильное действие? Он рассказывал мне, что на фоне его радости, этой высшей радости от чувства полноты жизни и сознания своей гениальности — появилось вдруг какое-то ужасное предчувствие. Ослепленный вначале красотой своих переживаний, он вдруг пугается их. Он спрашивает себя, во что превратится его интеллект и как будут функционировать его органы, если этот процесс, который он считал сверхъестественным, будет развиваться и усиливаться? Благодаря способности увеличивать все до чудовищных размеров, присущей духовному зрению отравленного гашишем, этот страх должен был вызвать невероятные терзания. «Я походил, — говорит он, — на лошадь, которая понесла и мчится к пропасти: она хочет остановиться и не может. Это был, действительно, ужасный галоп, и моя мысль, игрушка обстоятельств, среды, случая — всего того, что может быть охвачено словом *случайность*, приняла чисто рапсодический размах. Поздно! повторял я все время с глубоким отчаяньем. Едва прошла эта форма переживаний, которая, казалось мне, длилась бесконечно долгое время, хотя, быть может, это продолжалось всего несколько минут, — и



я вознадеялся, наконец, погрузиться в блаженный покой, столь ценимый сынами Востока, как на меня вдруг обрушилось новое несчастье. Новое беспокойство, самое мелочное и ребяческое, внезапно овладело мною. Я вспомнил вдруг, что приглашен на обед, на котором будет много солидных людей. И я увидел себя среди толпы корректных и благовоспитанных людей, прекрасно владеющих собой, — вынужденным, при свете многочисленных ламп, скрывать свое состояние. Я был уверен, что это удастся мне, но вместе с тем падал духом при мысли о том ужасном напряжении воли, которое требовалось для этого. Не знаю, какая случайность вызвала вдруг в моей памяти слова Евангелия: “Горе приносящему соблазн!” — и, желая забыть их и напрягая для этого все усилия, я беспрестанно повторял их в моем уме. И вот мое несчастье (да, это было истинное несчастье) приняло грандиозные размеры. Несмотря на слабость, я решился сделать энергичное усилие и обратиться к аптекарю: я не знал противоядий, а мне хотелось явиться в общество, куда призывал меня долг, свежим и здоровым. Но на пороге магазина меня осенила внезапная мысль, которая остановила меня на несколько секунд и заставила задуматься. По пути я увидел в витрине магазина свое отражение, и вид мой поразил меня. Эта бледность, эти сжатые губы, эти широко раскрытые глаза! “Зачем, — подумал я, — тревожить этого милого человека — и по такому пустяку!” К этому присоединялся “страх смешного” и желание избежать его, и вместе с тем боязнь застать людей в магазине. Но мое необъяснимое расположение к этому аптекарю подавляло все остальные чувства. Я представлял себе этого человека таким же болезненно чувствительным, каким был и сам в тот роковой момент, — и, воображая, что его слух и его душа должны содрогаться от малейшего шума, решил войти к нему на цыпочках. Нужно быть, — говорил я себе, — в высшей степени деликатным по отношению к человеку, вниманием которого я хочу воспользоваться. И я старался сдерживать звуки моего голоса, заглушать шум моих шагов. Вы знаете голос людей, отравленных гашишем? торжественный, низкий, гортанный, в общем напо-

минающий голос закоренелых опиоманов. — Результат получился совершенно противоположный тому, какого я ожидал. Желая успокоить аптекаря, я напугал его. Он ничего не знал о такой *болезни*, никогда не слышал о ней. Он смотрел на меня с любопытством и недоверием. Не принимал ли он меня за сумасшедшего, за злоумышленника или попрошайку? Вероятно, ни за того, ни за другого; но все эти нелепые мысли промелькнули в моем мозгу. Я должен был подробно объяснить ему (с каким усилием!) о существовании варенья из конопли и о том, для чего оно употребляется; я все время повторял, что опасности здесь никакой нет, что ему нечего беспокоиться, что я прошу у него только средства для ослабления действия яда или противодействия ему, подчеркивая беспрестанно, насколько я удручен необходимостью обращаться к нему по такому скучному делу. Наконец — поймите, сколько унижения было для меня в его словах — он просто попросил меня удалиться. Такова была награда за мое расположение и мое преувеличенное благодушие. Я отправился на вечер; я никого не шокировал там. Никто не догадался о сверхчеловеческих усилиях, которые я употреблял, чтобы походить на всех. Но я никогда не забуду терзаний ультра-поэтического опьянения, связанного необходимостью соблюдать приличия и отравленного сознанием долга!»

Хотя я вообще склонен сочувствовать страданиям, созданным воображением, я не мог удержаться от смеха, слушая этот рассказ. Автор его не исправился. Он продолжал искать в проклятом варенье того возбуждения, которое нужно находить в самом себе; но так как это человек осторожный и благоразумный, человек *из общества*, то он стал уменьшать дозы яда, — и в то же время чаще прибегать к нему. Со временем он увидит пагубные последствия такой системы.

Возвращаясь к последовательному описанию опьянения гашишем. После первого периода, выражающегося в ребяческой веселости, наступает кратковременное успокоение. Но вскоре наступают новые явления — ощущение холода в конечностях (в некоторых случаях довольно значительное)

и страшная слабость во всех членах: руки ваши совершенно расслаблены, а в голове и во всем вашем существе вы ощущаете какое-то онемение и тягостное оцепенение. Глаза ваши расширяются, они словно растягиваются во всех направлениях силой неудержимого экстаза. Лицо ваше покрывается страшной бледностью. Губы высыхают и как бы втягиваются ртом — тем вдыхательным движением, которое характеризуете честолюбивого человека, охваченного грандиозными планами, погруженного в великие мысли и вдыхающего воздух перед тем, как отдаться полету своего ума. Горло как бы сжимается. Небо пересохло от жажды, которую было бы бесконечно приятно утолить, если бы сладость лени не казалась еще приятнее и не противилась бы малейшему перемещению тела. Хриплые и глубокие вздохи вырываются из вашей груди, словно ваше *старое* тело не может вынести желаний и деятельности вашей *новой* души. Время от времени вы вздрагиваете, вы вынуждены делать произвольные движения, по своему характеру напоминающие те подергивания, которые после утомительного дня или во время бурной ночи предшествуют наступлению глубокого сна.

Прежде, чем перейти к дальнейшему, я остановлюсь на случае, который относится к упомянутому выше ощущению холода в конечностях и может служить доказательством того, насколько разнообразны даже чисто физические явления при действии яда, находясь в тесной зависимости от индивидуальности отравленного. В данном случае мы имеем дело с литератором, и многие моменты его рассказа отмечены печатью писательского темперамента.

«Я принял, — говорит он, — умеренную дозу жирного экстракта — и все шло прекрасно. Приступ болезненной веселости длился недолго и мною овладело состояние истомы и недоумения, которое почти граничило с блаженством. Я надеялся на спокойный вечер, свободный от всяких забот. К несчастью, обстоятельства сложились так, что мне пришлось в этот вечер сопровождать в театр одного из моих знакомых. Я мужественно подчинился необходимости, затаив свое безграничное желание отдаться лени и непод-

вижности. Не найдя ни одного свободного фиакра в моем квартале, я должен был совершить длиннейший путь пешком, подвергая слух свой неприятному шуму экипажей, глупым разговорам прохожих, целому океану пошлости. В кончиках пальцев я испытывал уже ощущение холода; холод этот все усиливался и наконец стал настолько резок, как будто руки мои были опущены в ведро ледяной воды. Но я не испытывал никакого страдания; наоборот, это острое чувство холода доставляло мне какое-то странное наслаждение. Но ощущение холода все усиливалось; раза два или три я спрашивал лицо, которое я сопровождал, действительно ли так холодно, как мне кажется; мне отвечали, что напротив, погода очень теплая. Очутившись, наконец, в зале, запертый в предназначенной мне ложе, имея в своем распоряжении три или четыре часа отдыха, я почувствовал себя в обетованной земле. Чувства, которые я сдерживал во время ходьбы напряжением моей ослабевшей воли, теперь сразу прорвались, и я свободно отдался немоу восторгу. Холод все увеличивался, а между тем я видел людей в легких костюмах, с усталым видом отиравших вспотевшее от жары лицо. Меня осенила радостная мысль, что я человек исключительный, который один пользуется правом мерзнуть летом в театральной зале. Холод, все увеличиваясь, становился угрожающим, но любопытство узнать, до какого предела он может дойти, было во мне сильнее других чувств. Наконец, он сделался безусловным и охватил меня всего; мне казалось, что даже мои мысли застыли: я превратился в мыслящую льдину, в статую, высеченную в глыбе льда; и эта дикая галлюцинация вызывала во мне гордость, возбуждала духовное блаженство, которое я не в состоянии передать. Моя безумная радость усиливалась еще благодаря уверенности, что никто из присутствующих не знает ничего ни о моей природе, ни о моем превосходстве над ними. И какое счастье я испытывал при мысли, что товарищ мой даже не подозревает, во власти каких диких ощущений я нахожусь! Скрытность моя была вполне вознаграждена, и полное сладострастие наслажде-

ние, которое я пережил, осталось моей нераздельной тайной.

Должен еще заметить, что когда я вошел в ложу, ощущение мрака поразило мои глаза, и это ощущение казалось мне очень близким к тому ощущению холода, которое я испытывал. Быть может, оба эти ощущения поддерживали друг друга. Вы должны знать, что гашиш вызывает обыкновенно чудесные световые эффекты, яркое сияние, каскады расплавленного золота; он радуется всякому свету — и тому, который льется широким потоком, и тому, который, подобно рассыпавшимся блесткам, цепляется за острия и верхушки; — и канделябрам салонов, и восковым свечам процессии в честь Богоматери, и розовым закатам солнца. Вероятно, эта несчастная люстра в театре давала свет, недостаточный для этой ненасытной жажды блеска; мне показалось, что я вхожу в царство мрака, который постепенно сгущался, в то время как я грезил о вечной зиме и о полярных ночах. Что касается сцены (на сцене этой давалась комедия), которая одна была освещена, то она казалась мне поразительно маленькой и очень далекой, — как бы в глубине бесконечного стереоскопа. Я не буду утверждать, что я слушал актеров — вы понимаете, что это было невозможно; время от времени мысль моя подхватывала обрывок фразы и, подобно искусной танцовщице, пользовалась ею, как упругой доской, отталкиваясь от нее и бросаясь в область грез.

Можно было бы предположить, что драма, воспринятая при таких условиях, теряет всякий смысл и всякую логическую связь; спешу разуверить вас: я находил очень тонкий смысл в драме, созданной моим рассеянным воображением. Ничто в ней не смущало меня; я походил на того поэта, который, присутствуя в первый раз на представлении «Эсфири», находил вполне естественным, что Аман объясняется царице в любви. Вы, конечно, догадываетесь, что дело шло о той сцене, когда Аман бросается к ногам Эсфири, умоляя ее простить ему его преступления. Если бы все драмы слушались таким образом, они значительно выиграли бы от этого, — даже драмы Расина.

Актеры казались мне совсем крошечными и обведенными резкими и отчетливыми контурами, подобно фигурам Мейсонье. Я не только ясно различал самые мелкие детали их костюмов, рисунки материй, швы, пуговицы и т. д., но даже линию парика, белила и румяна, и все изощрения грима, и все эти лилипуты были окутаны каким-то холодным, волшебным покрывалом, подобным тому, который дает очень ясное стекло масляной картине. Когда я вышел, наконец, из этого вместилища ледяного мрака, когда внутренняя фантазмагория рассеялась и я пришел в себя, я испытывал такое страшное утомление, какого никогда не вызывала во мне даже самая напряженная работа, вынужденная необходимостью».

Действительно, именно в этом периоде опьянения обнаруживается необыкновенная утонченность, удивительная острота всех чувств. Обоняние, зрение, слух, осязание — принимают одинаковое участие в этом подъеме. Глаза созерцают бесконечное. Ухо различает почти неуловимые звуки среди самого невероятного шума. И тут-то начинают возникать галлюцинации. Все окружающие предметы — медленно и последовательно — принимают своеобразный вид, постепенно теряют прежние формы и принимают новые. Потом начинаются разные иллюзии, ложные восприятия, транспозиции идей. Звуки облекаются в краски, в красках слышится музыка. Мне могут заметить, что тут нет ничего сверхъестественного, что всякая поэтическая натура — в здоровом и нормальном состоянии — склонна к таким аналогиям. Но ведь я предупредил читателя, что в состоянии, сопровождающем опьянение гашишем, нет никаких сверхъестественных явлений; вся суть в том, что эти аналогии приобретают необыкновенную яркость: они проникают в нас, овладевают нами, поработают ум своим деспотическим характером. Музыкальные ноты становятся числами, и если вы одарены некоторыми математическими способностями, то мелодия и гармония, сохраняя свой страстный, чувственный характер, превращается в сложную математическую операцию, в которой числа вытекают из чисел, и за развитием и превращениями которой вы следите с уди-

вительной легкостью, равной беглости самого исполнителя.

Случается иногда, что личность исчезает, и объективность — истинная сущность пантеистической поэзии — разбивается в вас до такой ненормальной степени, что созерцание окружающих предметов заставляет вас забыть о своем собственном существовании, и вы сливаетесь с ними. Ваш глаз останавливается на стройном дереве, раскачивающемся от ветра: через несколько секунд то, что вызвало бы только сравнение в мозгу поэта, становится для вас реальностью. Вы переносите на дерево ваши страсти, ваши желания или вашу тоску; его стоны и раскачивания становятся вашими, и вскоре вы превращаетесь в это дерево. Точно так же птица, парящая в глубине лазури, в первый момент является как бы олицетворением вашего желания парить над всем человеческим; но еще момент — и вы превратились в эту птицу... Вот вы сидите и курите. Ваше внимание остановилось на синеватых облаках, поднимающихся из вашей трубки. Представление об испарении — медленном, постепенном, вечном — овладеет вашим умом, и вы свяжете его с вашими собственными мыслями, с вашей мыслящей материей. И вот, в силу какой-то странной перестановки, какого-то перемещения или интеллектуального *qui pro quo* вы вдруг почувствуете, что вы испаряетесь, и вы припишете вашей трубке (в которой вы ощущаете себя сжатым и сдавленным, как табак) — поразительную способность *курить вас*.

К счастью, эта особенная способность воображения длится не более минуты: промежуток ясного сознания дал вам возможность, при громадном напряжении воли, взглянуть на часы. Но вот новый порыв мыслей уносит вас: он закрутит вас еще минуту в своем безумном вихре, и эта новая минута — будет новой вечностью. Ибо соотношение между временем и личностью совершенно нарушено благодаря количеству и интенсивности ощущений и мыслей. Можно сказать, что в течение одного часа переживается несколько человеческих жизней. Не уподобляетесь ли вы фантастическому роману — не написанному, а осуществлен-

ному в действительности? Нет прежнего отношения между органами чувств и переживаемыми наслаждениями; и это последнее обстоятельство служит наиболее существенным доказательством вреда этих опасных экспериментов, при которых исчезает свобода личности.

Когда я говорю о галлюцинациях, не следует понимать это слово в его обычном значении. Очень существенный оттенок разделяет чистую галлюцинацию, которую приходится так часто наблюдать врачам, от той галлюцинации — вернее, обмана чувств — которая наблюдается при отравлении гашишем. В первом случае галлюцинация появляется неожиданно и фатально и отличается законченностью; притом, она не имеет никакого отношения к окружающим предметам, никакой связи с ними. Больной видит образы, слышит звуки там, где их нет. Во втором случае, галлюцинация развивается постепенно, вызывается почти произвольно и достигает законченности только работой воображения. Притом она всегда мотивирована. Музыкальный звук будет говорить, произносить очень отчетливые вещи, но сам звук все-таки существует в действительности. Пьяный глаз человека, принявшего гашиш, увидит странные вещи; но прежде, чем они сделались странными и чудовищными, он видел эти вещи простыми и естественными. Сила и кажущаяся реальность галлюцинации при опьянении гашишем нисколько не противоречит этому основному различию. Последняя возникает на почве окружающей среды и данного времени, первая независима от них.

Для более полного представления об этой кипучей работе воображения, этом созревании галлюцинации, этом неустанном поэтическом творчестве, на которые обречен мозг, отравленный гашишем, я расскажу еще один случай. Тут мы имеем дело не с праздным юношей и не с литератором: это рассказ женщины, женщины немолодой, любознательной и легко возбудимой; уступив желанию познакомиться с действием яда, она описывает другой женщине одно из главных своих видений. Я выписываю ее рассказ дословно:

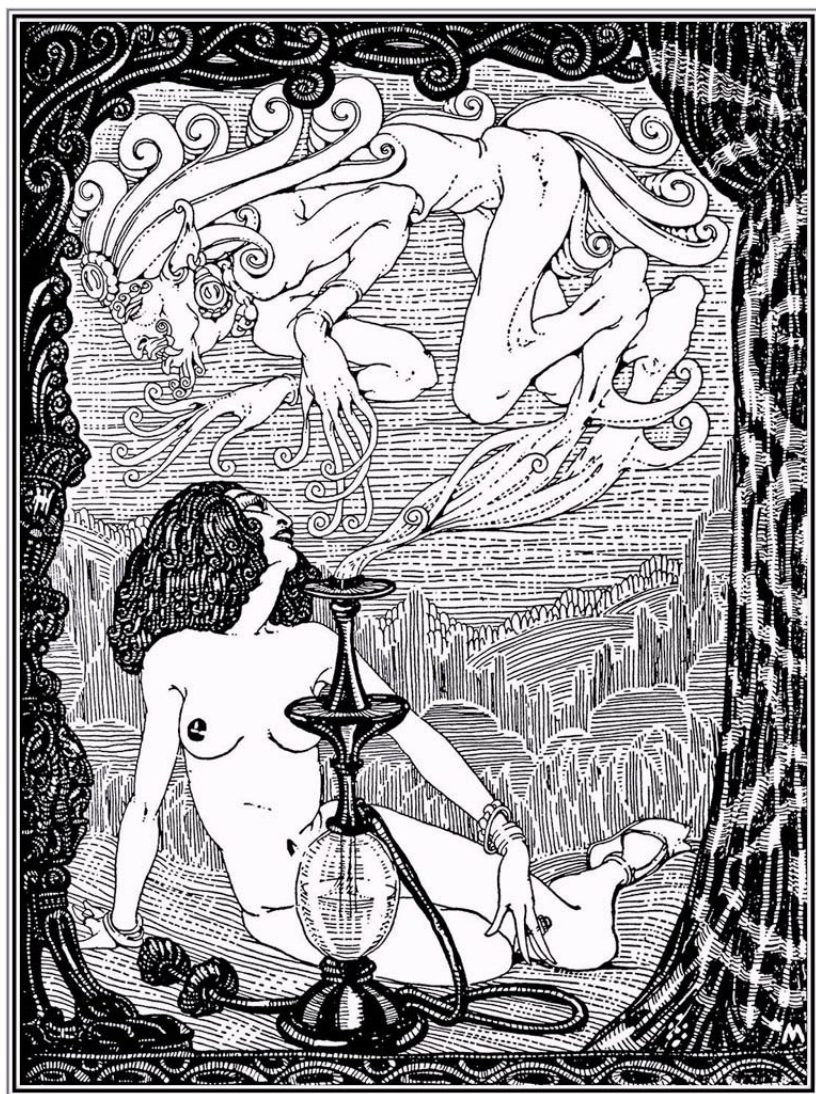


«Как ни удивительны, как ни новы ощущения, испытанные мною во время моего безумия, которое длилось двенадцать часов (двенадцать или двадцать? этого я, собственно, не знаю) — я никогда больше не вернусь к ним. Духовное возбуждение слишком сильно, усталость, следующая за ним, слишком велика; и говоря откровенно, я нахожусь в этом ребячестве много преступного. Но я уступила любопытству; и притом, это было безумие, совершенное сообща, в доме старых друзей, среди которых я не боялась немножко унизиться в своем достоинстве. Прежде всего, вы должны знать, что этот проклятый гашиш — крайне коварное вещество; иногда вам кажется, что вы уже освободились от яда, но это самообман. Периоды успокоения чередуются с периодами приступов. И вот, около десяти часов вечера, я находилась в одном из таких периодов просветления; мне казалось, что я освободилась от этого избытка жизни, который доставил мне, правда, много наслаждений, но который внушал мне какое-то беспокойство и страх. Я с удовольствием села ужинать, чувствуя себя изнуренной, как после долгого путешествия; до этого я из осторожности воздерживалась от пищи. Но еще до окончания ужина безумие снова овладело мною, как кошка мышью, и яд снова стал играть моим несчастным мозгом. Хотя дом мой находился недалеко от замка моих друзей, и их коляска была к моим услугам, я чувствовала такую властную потребность отдаться грезам, отдаться этому неудержимому безумию, что с радостью приняла их предложение переночевать у них. Вы знаете этот замок; вы знаете, что в нем отремонтированы и заново отделаны, в современном стиле, те помещения, в которых живут владельцы; но необитаемая половина замка осталась совершенно нетронутой, со всей своей ветхой обстановкой в старинном стиле. Мне предложили приготовить для меня спальню в этой части замка, и выбор мой остановился на одной маленькой комнатке вроде будуара — немного поблекшего и старого, но тем не менее очаровательного. Я попытаюсь, насколько возможно, описать вам эту комнату — для того, чтобы вы могли понять те странные видения, которые овладели там

мною и не покидали меня всю ночь, пролетевшую для меня с незаметной быстротой.

Будуар этот — маленький и очень узкий. Потолок, начиная от карниза, закругляется в виде свода; стены покрыты длинными узкими зеркалами, между ними — панно: пейзажи, написанные в небрежном стиле декораций. На высоте карниза, на четырех стенах, изображены различные аллегорические фигуры — одни в спокойных позах, другие на бегу или в полете. Над ними — несколько ярких птиц и цветы. Позади фигур изображена решетка, поднимающаяся и округляющаяся по своду потолка. Сам потолок позолочен. Таким образом, все промежутки между багетами и фигурами покрыты золотом, а в центре потолка золото прорезывается только переплетом мнимой решетки. Как видите, это походит на очень богатую *клетку*, прекрасную клетку для какой-нибудь большой птицы. Прибавлю еще, что ночь была чудесная, прозрачная и ясная, а луна светила так ярко, что, потушив свечу, я очень ясно видела всю эту декорацию, и видела не при свете моего воображения, как вы могли бы подумать, а именно при этой дивной ночи, блеск которой скользил по этой нежной ткани из золота, зеркал и пестрых красок.

Прежде всего, я была очень удивлена, увидев вокруг себя огромные пространства: то были чистые, прозрачные реки и зеленые ландшафты, отражающиеся в спокойной воде. Вы догадываетесь, конечно, что эта была игра картин, отраженных зеркалами. Когда я подняла глаза, я увидела заходящее солнце: оно напоминало остывающий расплавленный металл. Это было золото потолка; но решетка вызывала во мне представление о том, будто я нахожусь в клетке или в доме, открытом со всех сторон, с видом на бесконечные равнины, от которых меня отделяют лишь прозрачные сетчатые стены моей великолепной тюрьмы. Вначале я рассмеялась над этой иллюзией, но чем больше я всматривалась, тем больше усиливались чары, тем больше жизненности, ясности и навязчивой реальности приобретало видение. Теперь идея заключения заняла центральное положение в моем уме, хотя я должна признать, что



это нисколько не мешало тем разнообразным наслаждениям, которые доставляло мне все, что было вокруг меня и надо мной. Мне стало казаться, что я заключена надолго, быть может, на миллионы лет, в эту роскошную клетку, посреди этих волшебных ландшафтов, этой божественной панорамы. Я думала о *Спящей красавице*, об искуплении и будущем освобождении. Над моей головой летали яркие тропические птицы и, так как с большой дороги доносился звон колокольчиков, подвешенных к лошадям, то эти два впечатления сливались в одно, и я приписывала птицам это таинственное пение меди, и мне казалось, что у этих птиц металлические голоса. Очевидно, они беседовали обо мне и прославляли мое пленение. Кривляющиеся обезьяны, насмешливые сатиры, казалось, потешались над распростертой пленницей, обреченной на неподвижность. Но все мифологические божества смотрели на меня с чарующей улыбкой, как бы умоляя меня терпеливо нести свою судьбу; и все глаза направлялись на меня, как бы ища моего взгляда. И я решила, что если я обречена нести это наказание за какие-нибудь старые заблуждения, за какие-нибудь мне самой неизвестные грехи, то все-таки я могу надеяться на высшее милосердие, которое осудило меня на неподвижность, но зато обещает мне бесконечно более ценные наслаждения, чем те ребяческие удовольствия, которые заполняют наши юные годы. Вы видите, что грезы мои не лишены были нравственных размышлений, но я должна признать, что наслаждение, которое доставляли мне эти прекрасные образы и блестящие краски, и сознание, что я составляю центр фантастической драмы, постоянно прерывало все другие мысли. Это состояние длилось долго, очень долго... Длилось ли оно до самого утра? На это я не могу ответить. Я увидела утреннее солнце прямо против себя, и очень удивилась этому; но несмотря на все усилия моей памяти, мне не удалось установить, спала ли я или провела дивную бессонную ночь. Только что была глубокая ночь, а теперь — день! А между тем, я прожила долгую, о, очень долгую жизнь!.. Представление о времени или, вернее, чувство времени отсутствовало, я измеряла эту ночь

только количеством пронесившихся в моем мозгу мыслей. Однако, хотя с этой точки зрения она представлялась мне бесконечно долгой, все-таки мне казалось, что она длилась всего несколько секунд или, быть может, даже вовсе не занимала места в Вечности...

Я не рассказываю вам о моей усталости... она была безмерна. Говорят, что экстаз поэтов и творцов напоминает то состояние, которое я испытала; мне, однако, всегда казалось, что те, которые призваны волновать сердца людей, должны быть одарены невозмутимо-спокойным темпераментом; но если экстаз поэтов, действительно, походит на те наслаждения, которые доставила мне чайная ложка варенья, то думаю, что бедные поэты расплачиваются слишком дорогой ценой за удовольствия публики. И какое чувство благополучия, прозаического удовлетворения овладело мною, когда я опять почувствовала себя *дома*, т. е. в моем духовном мире — в действительной жизни!»

Вот рассказ несомненно разумной женщины, и мы воспользуемся им, извлекая некоторые полезные указания, которые дополняют это краткое описание основных ощущений, вызываемых гашишем.

Она упомянула об ужине, как об удовольствии, которое явилось очень кстати, когда временное прояснение (казавшееся ей окончательным) позволило ей вернуться к действительности. Я говорил уже, что в опьянении гашишем бывают периоды прояснения и обманчивого затишья; очень часто гашиш вызывает чувство жестокого голода и почти всегда — необыкновенную жажду. Но обед или ужин не приводят к успокоению, а наоборот, вызывают новый приступ, — то удивительное состояние, которое описывает рассказчица, — состояние, сопровождающееся целым рядом волшебных видений, тех слегка окрашенных ужасом видений, перед которыми она выказала такую очаровательную покорность. Замечу еще, что на удовлетворение этого тиранического чувства голода и жажды, о которых мы упомянули, приходится затрачивать порядочные усилия, ибо отравленный гашишем чувствует себя настолько выше материальных вопросов или, вернее, так поработчен опьяне-

нием, что ему нужно не мало времени собраться с силами для того, чтобы взять в руки бутылку или вилку.

Последний приступ, вызванный процессом пищеварения, проявляется в очень бурной форме: с ним невозможно уже бороться; к счастью, эта фаза опьянения непродолжительна; она сменяется другой фазой, которая в приведенном мною случае сопровождалась чудесными видениями, возбуждавшими некоторый страх и вместе с тем глубокое умиротворение. Это новое состояние обозначается на Востоке словом *кейф*. В нем нет уже бурных и головокружительных порывов; это блаженство покоя и неподвижности, необыкновенно величественная покорность. Вы давно потеряли власть над собой, но это не печалит вас. Страдание и представление о времени исчезли, и если порою они все-таки всплывают, то совершенно измененные, соответствуя господствующему чувству, и столь же далекие от своей обычной формы, как поэтическая грусть — от настоящего страдания.

Но отметим, прежде всего, что в рассказе этой дамы мы имеем дело с псевдо-галлюцинацией, — галлюцинацией, обусловленной окружающей средой; мысль является только зеркалом, в котором окружающее отражается в чудовищных размерах. Затем наступает явление, которое я назвал бы моральной галлюцинацией: субъект думает, что он подвергается искуплению; благодаря женскому темпераменту, не склонному к анализу, рассказчица не обратила внимания на оптимистический характер приведенной выше галлюцинации. Благосклонный взгляд богов Олимпа опозитизирован чисто *гашишистской* дымкой. Я не скажу, что рассказчица миновала обычный момент угрызений совести, но мысли ее, внезапно охваченные грустью и сожалением, быстро окрасились надеждой. У нас еще будет возможность подтвердить это наблюдение.

Она говорит об усталости следующего дня; действительно, усталость эта очень велика; но она чувствуется не сразу, и когда вы замечаете ее, вы недоумеваете. Прежде всего, когда вы окончательно убедились, что новый день поднялся над горизонтом вашей жизни, вы испытываете

чувство необыкновенного благополучия. Но как только вы стали на ноги, вы чувствуете, что последствия опьянения еще держат вас в своей власти, опутывают вас, как цепи недавнего рабства. Ваши слабые ноги едва поддерживают вас, и вы ежеминутно боитесь разбиться, как хрупкий предмете. Страшная слабость (некоторые утверждают, что она не лишена прелести) томит ваше дух и окутывает туманом ваши способности. И вот вы еще на несколько часов лишены возможности работать, действовать, проявлять свою волю. Это наказание за ту беззаботную расточительность, с которой вы расходовали вашу нервную энергию. Вы развеяли на все четыре стороны вашу индивидуальность, и сколько усилий должны вы употребить теперь, чтобы вновь *собрать и сосредоточить ее!*



## VI. ЧЕЛОВЕК — БОГ

Пора, однако, оставить это жонглерство, эти видения, , созданные ребяческим воображением. Не предстоит ли нам говорить о более важном: об изменении человеческих чувств, — словом, о *нравственном* воздействии гашиша?

До сих пор я набросал лишь общую картину опьянения; я ограничился указанием основных особенностей его, главным образом — физических. Но что, как я полагаю, гораздо существеннее для серьезного человека — так это ознакомление с воздействием яда на духовную сторону человека, т. е. усиленное извращение, разрастание его обычных чувствований и внутренних восприятий, представляющих в это время, в этой исключительной атмосфере, настоящий феномен преломления.

Человек, который в течение долгого времени предавался опию или гашишу, а затем, при всем ослаблении, обусловленном привычкой к их употреблению, нашел в себе достаточно энергии, чтобы освободиться от них, кажется мне похожим на узника, убежавшего из тюрьмы. Он внушает мне гораздо более уважения, чем иной благоразумный человек, не изведавший паденья, старательно избегавший всяких соблазнов. Англичане часто называют опиоманов именами, который покажутся слишком сильными только невинным, незнакомым с ужасами этого падения: *enchained, fettered, enslaved!*\* В самом деле, это настоящие цепи, рядом с которыми все другие — цепи долга, цепи незаконной любви — являются не более как воздушной тканью, нитями паутины! Ужасный брак человека с самим собой! «Я сделался рабом опия; он наложил на меня свои оковы, и все мои работы, все мои планы приняли окраску моих слов», — говорит супруг Лигейи, — и сколько других

---

\* Закованные в цепи, связанные по рукам и ногам, порабощенные (англ.). — Прим. ред.



замечательных описаний мрачных и завлекательных чудес опия находим мы у Эдгара По, этого несравненного поэта, этого неопровергнутого философа, на которого приходится ссылаться всякий раз, когда затрагивается вопрос о таинственных болезнях духа. Любовник прелестной Беренисы, Эгей-метафизик, говорит об изменении своих способностей, благодаря которому самые простые явления получают для него неестественное, чудовищное значение: «Размышлять по целым часам, устремив внимательный взгляд на какое-нибудь незначительное изречение на полях или в тексте книги; — в течение большей части долгого летнего дня уходить в созерцание длинной причудливой тени, косо падающей на стены или на пол; — целую ночь наблюдать за ровным пламенем лампы или за угольями камина; — грезить целые дни о запахе какого-нибудь цветка; — повторять монотонным голосом какое-нибудь обыкновенное слово, пока звук его, от частого повторения, терял для ума связь с каким бы то ни было представлением; — таковы были некоторые из самых обыкновенных и наименее вредных уклонений моих душевных способностей, уклонений, которые, правда, не являются исключительными, но которые, без сомнения, не поддаются никакому объяснению или анализу». А нервный Август Бэдлоэ, принимающий каждый день перед прогулкой дозу опия, признается, что главная привлекательность этого ежедневного опьянения состоит в том, что всем, даже самым обыденным вещам, оно придает особый интерес: «Между тем, опий произвел свое обычное действие — окутал весь внешний мир интенсивным интересом. В дрожащем листе — в цветке былинки — в блеске капельки росы — в шуме ветра — в неопределенном запахе леса — во всем создавался мир откровений, и мысли неслись беспорядочным, рапсодическим, роскошным потоком».

Так выражается, устами своих персонажей, царь ужасов, владыка тайн. Эти две характеристики опия вполне применимы и к гашишу; как в том, так и в другом случай дух, свободный до опьянения, становится рабом; но слово *рапсодический*, так хорошо определяющее ход мыслей, под-

сказанных и внушенных внешним миром и случайной игрой внешних обстоятельств, еще с большей и более ужасной правдивостью применимо к действию гашиша. Тут человеческий разум является какой-то щепкой, уносимой течением потоков, и ход мыслей здесь *несравненно более стремителен и рапсодичен*. Из этого, я полагаю, достаточно очевидно следует, что непосредственное действие гашиша гораздо сильнее, чем действие опия, что он в гораздо большей степени нарушает нормальную жизнь, словом — гораздо вредоноснее опия. Я не знаю, вызовет ли десятилетнее отравление гашишем столь же глубокие разрушения, как десятилетнее употребление опия; я утверждаю только, что действие гашиша по отношению к данному моменту и к следующему за ним является гораздо более ужасным: опий — это тихий обольститель, гашиш — это необузданный демон.

Я хочу, в этой заключительной части, определить и проанализировать нравственное опустошение, причиняемое этой опасной и соблазнительной гимнастикой, — опустошение столь великое, опасность столь глубокую, что люди, которые выходят из борьбы, отделившись лишь незначительными повреждениями, кажутся мне храбрецами, ускользнувшими из пещеры многоликого Протея, Орфеями, победившими преисподнюю. И пусть мой способ выражения принимают, если угодно, за преувеличенную метафору, — но я должен признаться, что возбуждающие яды кажутся мне не только одним из самых страшных и действительных средств, которыми располагает Дух Тьмы для завлечения и покорения злосчастного человечества, но и одним из самых удивительных его воплощений.

На этот раз, чтобы сократить труд и придать большую ясность моему анализу, я не стану приводить отдельных рассказов, а соединю всю массу наблюдений в применении к одному вымышленному лицу. Итак, я должен представить себе какую-нибудь человеческую душу, по своему выбору. Де Квинси, в своих *Признаниях*, справедливо утверждает, что опий не усыпляет, а возбуждает человека, но возбуждает в направлении его естественных склонностей, и

потому, чтобы судить о чудесах, совершаемых опиумом, было бы нелепо изучать его действие на торговце скотом, ибо этому последнему грезилось бы только воли и пастбища. Итак, я не буду описывать грубые фантазии какого-нибудь коннозаводчика, опьяненного гашишем; — кому это может доставить удовольствие? кто стал бы о них читать? Чтобы идеализировать предмет моего анализа, я должен собрать на нем все лучи, поляризировать их; и тем заколдованным кругом, в котором я соберу их, будет, как я уже сказал, избранный — с моей точки зрения — душа, нечто подобное тому, что XVIII веке именovali «чувствительным человеком», романтическая школа называла «непонятным человеком», а нынешние представители семейного начала и буржуазная толпа поносят обыкновенно под наименованием «оригинала».

Наполовину нервный, наполовину желчный темперамент — вот что служит особенно благоприятной почвой для ярких проявлений такого опьянения; прибавим к этому развитой ум, воспитанный на изучении форм и красок, нежное сердце, истомленное горем, но не утратившее способности молодеть; представим себе, кроме того, если угодно, ряд ошибок, совершенных в прошлом, и все, что связано с этим для легковозбудимой натуры: если не прямые угрызения совести, то, во всяком случае, скорбь о низменно прожитом, плохо растратенном времени. Склонность к метафизике, знакомство с философскими гипотезами относительно человеческого предназначения, — тоже, конечно, не будут бесполезными дополнениями, — точно так же, как и любовь к добродетели, отвлеченной добродетели стоического или мистического характера, о которой говорится во всех книгах, составляющих пищу современных детей, как о высочайшей вершине, достижимой для возвышенной души. Если мы присоединим ко всему этому большую утонченность ощущений, которую я опустил, как сверхдолжное условие, — то, кажется, мы получим в результате соединение всех основных черт, свойственных современному чувствительному человеку, — всех элементов того, что можно было бы назвать *обычной формой оригинальности*.

Посмотрим теперь, во что превратится такая индивидуальность, вздутая до чрезмерных пределов действием гашиша. Проследим за этим процессом человеческого воображения вплоть до его последней, наиболее роскошной обители — до уверования личности в свою собственную божественность.

Если вы принадлежите к числу таких душ, ваша природная любовь к формам и краскам найдет огромное удовлетворение в первых же стадиях вашего опьянения. Краски приобретут необычайную яркость и устремятся в ваш мозг с победительной силой. Тусклая, посредственная или даже плохая живопись плафонов облечется ужасающей жизненностью; самые грубые обои, покрывающие стены каких-нибудь постоялых дворов, превращаются в великолепные диорамы. Нимфы с ослепительными телами смотрят на вас своими большими глазами — более глубокими и прозрачными, чем небо и вода; герои древности в греческих воинских одеяниях обмениваются с вами, при посредстве одного молчаливого взгляда, глубочайшими признаниями. Изгибы линий говорят с вами необычайно понятным языком, раскрывают перед вами волнения и желания душ. В это же время развивается и то таинственное и зыбкое настроение духа, когда за самым естественным, обычным зрелищем окружающего — разверзается вся глубина жизни, во всей ее цельности и во всем многообразии ее проблем, — когда первый попавшийся предмет становится красноречивым символом. Фурье и Сведенборг, — один со своими *аналогиями*, другой со своими *откровениями*, — воплотились в растительный и животный мир, который распадается на ваших глазах, открывая вам истину — не голосом, а своими формами и красками. Смысл аллегорий разрастается в вас до небывалых пределов; заметим кстати, что аллегория, этот в высокой степени одухотворенный вид искусства, который бездарные живописцы научили нас презирать, но который является одним из самых первобытных и естественных проявлений поэзии, приобретает для ума, озаренного опьянением, всю свою прежнюю, законную значительность. Гашиш заливает всю жизнь каким-то ма-

гическим лаком; он окрашивает ее в торжественные цвета, освещает все ее глубины. Причудливые пейзажи, убегающие горизонты, перспективы городов, белеющих в тускло-мертвом освещении грозы или озаренных рдеющими огнями заката, — глубины пространства, как символ глубины времени — пляска, жест или декламация актеров, если вы очутились в театре, — первая попавшаяся фраза, если взгляд ваш упал на страницу книги, — словом все, все существа и все существующее встает перед вами в каком-то новом сиянии, которого вы никогда не замечали до этих пор. Даже грамматика, сухая грамматика превращается в чародейство и колдовство: слова оживают, облекаются плотью и кровью: существительное во всем своем субстанциальном величии, прилагательное — цветное, прозрачное облачение его, прилегающее к нему, как глазурь, и глагол — этот ангел движения, сообщающий фразе жизнь. Музыка, — другой язык, излюбленный язык для ленивых или же для глубоких умов, ищущих отдохновения в разнообразии труда, — музыка говорит вам о вас самих, рассказывает вам поэму вашей жизни: она переливается в вас, и вы растворяетесь в ней. Она говорит о владеющей вами страсти — не расплывчато и неопределенно, как в один из праздных вечеров, проводимых вами в опере, но обстоятельно, положительно: каждое движение ритма отмечает определенное движение вашей души, каждая нота превращается в слово, и вся поэма целиком входит в ваш мозг, как одаренный жизнью словарь.

Не нужно думать, что все эти явления возникают в нашем сознании хаотически, в крикливых тонах действительности, в беспорядке, свойственном внешней жизни. Внутренний взор наш все преображает, всякую вещь дополняет красотой, которой ей недостает, чтобы она могла стать действительно достойной и привлекательной. К этой же фазе, преимущественно чувственной и сладострастной, нужно отнести влечение к прозрачной, текучей или стоячей воде, которое с такой удивительной силой развивается в опьяненном мозгу некоторых художников. Зеркала дают повод к возникновению этой грезы, столь похожей на духовную жаж-

ду в соединении с иссушающей горло физической жаждой, о которой я уже говорил выше; бегущая вода, игра струй, гармонические каскады, синяя беспредельность моря — все это несется, поет или дремлет, проникнутое неотразимой прелестью. Вода разливается, как настоящая обольстительница и, хотя я не очень верю в припадки буйного помешательства, вызываемые гашишем, однако я не стал бы утверждать, что созерцание прозрачной бездны вполне безопасно для души, влюбленной в пространство и хрустальные глади, и что древнее сказание об Ундине не может превратиться для энтузиаста в трагическую действительность.

Мне кажется, что я достаточно говорил о чудовищном разрастании времени и пространства — двух идей, тесно связанных между собой, которые разум, в состоянии опьянения, созерцает без скорби и без страха. С каким-то меланхолическим восторгом всматривается он в глубь годов и смело устремляется взором в беспредельность пространства. Было правильно подмечено, что это неестественное, все подчиняющее себе разрастание распространяется также на все чувства и на все идеи, в том числе и на чувство симпатии; полагаю, я привел достаточно убедительный пример этого; то же самое относится и к любви. Идея красоты должна, конечно, занимать важное место в духовной личности предположенного нами склада. Гармония, изгибы линий, соразмерность движений представляются грезящему, как нечто необходимое, *обязательное* — не только для всех существ творения, но и для него самого, грезящего, одаренного, в этой стадии опьянения, удивительной способностью понимать бессмертный мировой ритм. И если наш фанатик сам не одарен красотой, не думайте, что он будет долго страдать от этого неприятного сознания, что он будет смотреть на себя, как на дисгармоническую ноту в мире гармонии и красоты, созданном его воображением. Софизмы гашиша многочисленны и непостижимы, в общем, направлены в сторону оптимизма, и один из главнейших и наиболее действенных состоит в том, что желаемое приобретает характере осуществившегося. То же самое очень часто наблюдается, конечно, и в условиях обычной жизни,

но насколько это здесь ярче и тоньше! Да и как могло бы существо, одаренное таким разумением гармонии, существо, являющееся как бы жрецом Прекрасного, — как могло бы оно допустить исключение, пятно по отношению к собственной теории? Нравственная красота и могущество ее, изящество со всеми его оболыщениями, красноречие с его смелыми подъемами — все эти представления являются сначала как бы коррективами к режущей некрасивости, потом — утешителями и, наконец, утонченными льстецами воображаемого владыки.

Что касается любви, то я видел многих людей, которые с любопытством, достойным школьника, старались разузнать что-нибудь на этот счет у лиц, знакомых с употреблением гашиша. Во что может превратиться любовное опьянение, столь могущественное уже само по себе, когда оно находится в другом опьянении, как солнце в солнце? Таков вопрос, возникающей для множества умов, которые я называл бы праздными гуляками интеллектуального мира. Чтобы ответить на подразумеваемую здесь непристойность, на ту часть вопроса, которую не решаются предложить открыто, я отошлю читателя к Плинию, который, говоря где-то о свойствах конопли, рассеивает на этот счет множество иллюзий. Общеизвестно, впрочем, что самым обычным результатом злоупотреблений нервными возбуждениями и возбуждательными средствами является расслабление организма. Но так как в данном случае приходится говорить не об активных способностях, а об чувствительности и возбудимости, то я только попрошу читателя обратить внимание на то, что фантазия нервного человека, опьяненного гашишем, доведена до чудовищных размеров, которые так же трудно поддаются определению, как сила ветра во время бури, ощущения же его утончены также до степени, не поддающейся измерению. Можно допустить поэтому, что самая тихая, самая невинная ласка, как, например, пожатие руки, приобретает значение, во сто крат увеличенное данным состоянием души и чувств, и вызывает — притом очень быстро — то судорожное замирание, которое считается обыкновенными смертными *вершиной* наслаждения. Но что в

душе, много занимавшейся любовью, гашиш пробуждает нежные воспоминания, которым страдание и скорбь придают еще большую, сияющую прелесть, это не подлежит никакому сомнению. Столь же несомненно, что ко всем этим движениям духа примешивается значительная доля чувственности; и будет бесполезно отметить, чтобы констатировать на этом пункте всю безнравственность употребления гашиша, что секта Измаилитов (из которой выделились Ассасины) перешла, в своем обожествлении известных вещей, даже за пределы беспристрастного Лингама, и создала абсолютный и исключительный культ одной только женской половины символа. И так как жизнь каждого человека повторяет собою историю, не было бы ничего сверхъестественного в том, чтобы такая же непристойная ересь, такая же чудовищная религия выросла и в уме человека, малодушно отдавшегося воздействиям дьявольского зелья и с улыбкой созерцающего извращения собственных способностей.

Мы уже видели, что при опьянении гашишем с особенной силой проявляется чувство симпатии к людям — даже незнакомым, своего рода филантропия, основанная скорее на жалости, чем на любви (здесь уже дает себя чувствовать первый зародыш сатанинского духа, которому предстоит развиваться до необычайных размеров), но доходящая до опасения причинить кому-либо малейшее огорчение. Можно себе представить после этого, во что превращается при данных условиях чувствительность более сосредоточенная, направленная на дорогое существо, играющее или игравшее серьезную роль в нравственной жизни больного. Преклонение, обожание; молитвы и мечты о счастье несутся стремительно, с победоносной силою и фейерверочным блеском; подобно пороху и разноцветным огням, они вспыхивают и рассыпаются во мраке. Нет такого сочетания чувств, которое оказалось бы невозможным для гибкой любви поработанного гашишем. Склонность к покровительству, отцовское чувство, горячее и самоотверженное, могут соединяться с преступной чувственностью, которую гашиш всегда сумеет извинить и оправдать. Но действие его идет



еще дальше. Предположим, что совершенные некогда проступки оставили в душе следы горечи, и муж, или любовник, с грустью созерцает (в своем нормальном состоянии) свое омраченное тучами прошедшее; теперь сама эта горечь преобразуется в наслаждение; потребность в прощении заставляет воображение искусно измышлять примирительные мотивы, и сами угрызения, в этой сатанинской драме, выливающейся в одном длинном монологе, могут действовать как возбудитель, могущественно разжигающий энтузиазм сердца. Да, даже угрызения! Не был ли я прав, утверждая, что для истинно философского ума гашиш является совершеннейшим орудием дьявола? Угрызения, составляющие своеобразную приправу к удовольствию, вскоре совершенно поглощаются блаженным созерцанием угрызений, своего рода сладострастным самоанализом; и этот самоанализ совершается с такой быстротой, что человеку этот прирожденный дьявол, как говорят последователи Сведенборга, не отдает себе отчета в том, как он непроизволен и как, с секунды на секунду, он приближается к дьявольскому совершенству. Человек *восхищается* своими угрызениями и преклоняется перед самим собой в то самое время, когда он быстро идет к окончательной потере свободы.

И вот изображаемый мной человек, избранный ум, достиг той ступени радости и блаженства, когда он не может не любоваться самим собой. Все противоречия сглаживаются, все философские проблемы становятся ясными или, по крайней мере, кажутся такими. Полнота его переживаний внушает ему безграничную гордость. Какой-то голос внутри его (увы, это его собственный голос) говорит ему: «Теперь ты имеешь право смотреть на себя, как на высшего из людей; никто не знает и не мог бы уразуметь все, что ты думаешь и все, что ты чувствуешь; они неспособны даже оценить той благосклонности, которую они вызывают в тебе. Ты — царь, непризнанный окружающими, живущий в одиночестве своих мыслей; но что тебе до этого? Не вооружен ли ты тем высшим презрением, которое обуславливает доброту души?»

Между тем, легко представить себе, что время от времени жгучее воспоминание пронизывает и отравляет это блаженство. Какое-нибудь впечатление, идущее из внешнего мира, может воскресить тягостное для созерцания прошедшее. Сколько нелепых и низких поступков наполняет это прошлое, поступков, поистине недостойных этого царя мысли и оскверняющих его идеальное совершенство! Но будьте уверены, что человек, находящийся во власти гашиша, смело взглянет в глаза этим укоризненным призракам и даже сумеет извлечь из этих ядовитых воспоминаний новые элементы удовольствия и гордости. Ход его рассуждений будет таков: едва прекратилось первое болезненное ощущение, как он начнет с любопытством анализировать этот поступок или это чувство, воспоминание о котором нарушило его самовозвеличение, мотивы, которые побуждали его тогда поступить таким образом, обстоятельства, в которых он тогда находился; а если и эти обстоятельства не дадут достаточных оснований для оправдания или по крайней мере смягчения проступка, не подумайте, что он сочтет себя побежденным! Вот его рассуждения, подобные, в моих глазах, игре какого-то механизма под прозрачным стеклом: «Этот нелепый, подлый или низкий поступок, воспоминание о котором на минуту смутило меня, находится в полном противоречии с моей истинной, с моей настоящей натурой, и сама энергия, с какой я порицаю его, то инквизиторское рвение, с каким я исследую и сужу его, доказывают мою высокую, божественную склонность к добродетели. Много ли найдется на свете людей, способных так осудить себя, произнести над собой столь суровый приговор?» И вот он не только осуждает, но и прославляет себя. Ужасное воспоминание потонуло, таким образом, в созерцании идеальной добродетели, идеального милосердия, идеального гения, и с чистым сердцем он предается своей торжествующей духовной оргии. Мы видим, что, святотатственно разыгрывая таинство исповедания, являясь одновременно исповедующимся и исповедником, он с легкостью отпустил себе все грехи или, еще хуже, извлек из своего осуждения новую пищу для своей гордости. Теперь, из созерцания

своих грез и стремлений к добродетели, он заключает о своей способности быть добродетельным на деле; сила влюбленности, с какой обнимает он призрак добродетели, кажется ему достаточным, неопровержимым доказательством того, что у него хватит активной силы, необходимой для осуществления своего идеала. Он совершенно смешивает грезу с действительностью, воображение его все более и более разгорячается обольстительным зрелищем собственной — исправленной, идеализированной природы; он подставляет этот обаятельный образ на место своей реальной личности, столь бедной волей, столь богатой чванством, и кончает полным апофеозом самого себя, выражая его в ясных и простых словах, заключающих для него целый мир безумнейших наслаждений: *«Я — самый добродетельный из всех людей»*.

Не напоминает ли вам это Жан-Жака, который точно так же, поведав вселенной, не без некоторого сладострастия, о своих грехах, дерзнул испустить тот же торжествующий крик (разница, если и есть, то, во всяком случае, она очень невелика), — с такой же искренностью, с такой же убежденностью? Восторг, с которым он поклонялся добродетели, нервическое умиление, наполнявшее слезами его глаза при виде благородного поступка или при мысли обо всех тех прекрасных поступках, которые он хотел бы совершить, все это внушало ему преувеличенное представление о своей нравственной высоте. Жан-Жак умел опьяняться без гашиша.

Следовать ли мне дальше в анализе этой победоносной мономании? Объяснять ли, каким образом мой герой, под действием яда, скоро становится уже центром мироздания? Каким образом он оказывается живым, доведенным до последней крайности, воплощением пословицы, что страсть все относит к самой себе? Он уверовал в свою добродетель и в свою гениальность; трудно ли угадать заключение всего этого? Все окружающие его предметы стали источником внушений, которые шевелят в нем целый мир мыслей — более ярких, живых, более тонких, чем когда-либо и как бы покрытых магическим лаком. «Эти великолепные горо-

да, — говорит он, — роскошные здания которых громоздятся друг над другом, словно на декорации, — эти прекрасные суда, покачивающиеся на водах рейда в мечтательном безделье и как бы выражающие нашу мысль: когда поплывем мы навстречу счастью? — эти музеи, переполненные дивными формами и опьянительными красками, — эти библиотеки, в которых собран труд Науки и мечтания Музы, — эти инструменты, сливающие свои голоса воедино, — эти обольстительные женщины, прелесть которых еще возвышается искусными туалетами и скромностью взгляда, — все это было создано *для меня, для меня, для меня!* Для меня человечество трудилось, мучилось, приносило себя в жертву, — чтобы послужить пищей, *pabulum*, моему ненасытному стремлению к волнующим впечатлениям, к знанию, к красоте!» Я пропускаю звенья, сокращаю. Никому уже не покажется удивительным, что последняя, фатальная мысль вспыхивает вдруг в мозгу мечтателя: «Я стал Богом», — что дикий горячечный крик вырывается из его груди с такой силой, с такою потрясающей мощью, что если бы желания и верования опьяненного человека обладали действенной силой, этот крик низверг бы ангелов, блуждающих по путям небесным: «Я — Бог!» Но скоро этот ураган гордыни переходит в состояние тихого, молчаливого, умиротворенного блаженства, и все сущее предстает в окраске и освещении какой-то адской зари. Если в душе злосчастного счастливца случайно промелькнет смутное воспоминание: А не существует ли еще другой Бог? — будьте уверены, что он гордо поднимет голову перед *тем*, что он будет отстаивать свои права и ничего не уступит ему. Какой это французский философ, высмеивая современные немецкие учения, сказал: «Я бог, но только плохо пообедавший»? Эта ирония нимало не задела бы человека, находящегося во власти гашиша; он преспокойно ответил бы: «Возможно, что я плохо пообедал, но я — Бог».

## V. ВЫВОДЫ

Но завтра! ужасное завтра! расслабленные, утомленные органы, упавшие нервы, щекочущие приступы плача, невозможность отдаться систематической работе — все это жестоко доказывает вам, что вы играли в запрещенную игру.

Безобразная природа, лишенная освещения предыдущего дня, походит на грустные остатки пиршества. В особенности поражена воля, самая драгоценная из всех способностей. Говорят — и это, кажется, верно, — что это вещество не причиняет никакого физического вреда, во всяком случае, никакого серьезного вреда.

Но разве можно назвать здоровым человека, непригодного к деятельности и способного только мечтать, хотя бы все члены его и были невредимы? Мы слишком хорошо знаем природу человека, и можем утверждать, что человек, который за ложку варенья может получить все блага земли и неба, не станет и тысячной доли их добиваться трудом. Возможно ли представить себе государство, все граждане которого опьянялись бы гашишем? Каковы были бы эти граждане, эти воины, эти законодатели! Даже на Востоке, где употребление его так распространено, есть государства, в которых запрещено употребление гашиша. В самом деле, человеку, под страхом духовного разложения и смерти, не дозволено изменять основные условия своего существования и нарушать равновесие между своими способностями и той средой, в которой ему суждено проявлять себя; словом, — не дозволено изменять свое предназначение, подчиняясь вместо того фатальным силам другого рода. Вспомним Мельмота, этот удивительный прообраз. Его ужасные страдания заключаются в противоречии между его чудесными способностями, мгновенно приобретенными в сделке с дьяволом, и той обстановкой, в которой он, как создание Божие, осужден был жить. И никто из тех, кого он пытается соблазнить, не соглашается купить у него, на их же условиях, его страшного преимущества. В самом деле,

всякий человек, отвергающий условия жизни, продает свою душу. Легко понять соотношение между демоническими образами поэзии и живыми существами, предавшимися употреблению возбуждающих средств. Человек захотел стать Богом, и вот, в силу неуловимого нравственного закона, он пал ниже своей действительной природы. Это душа, продающая себя в розницу.

Бальзак, несомненно, думал, что нет для человека большего стыда, более жгучего страдания, как отречение от своей воли. Я видел его раз на одном собрании, где речь шла о чудесном действии гашиша. Он слушал и расспрашивал с удивительным вниманием и оживлением. Люди, знавшие его, поймут, насколько это должно было интересовать его. Но идея произвольного мышления возмущала его. Ему предложили давамеска; он рассмотрел его, понюхал и возвратил, не прикоснувшись к нему. Борьба между его почти детским любопытством и отвращением к потере воли изумительно ярко отражалась на его выразительном лице. Чувство человеческого достоинства победило. В самом деле, трудно представить себе, чтобы этот теоретик воли, этот духовный близнец Луи Ламберта, согласился отказаться хоть от малейшей частицы этой драгоценной *субстанции*.

Несмотря на удивительные услуги, оказанные эфиром и хлороформом, — мне кажется, что с точки зрения спиритуалистической философии такое же нравственное осуждение применимо ко всем современным изобретениям, которые стремятся уменьшить человеческую свободу и неизбежное страдание. Не без некоторого восхищения выслушал я однажды парадокс одного офицера, рассказавшего мне о тяжелой операции, которая была сделана одному французскому генералу в Эль-Агуате и от которой этот последний умер, несмотря на хлороформ. Этот генерал был очень храбрым человеком и даже более того — одной из тех душ, к которым естественно применяется понятие рыцарства. «Ему нужен был не хлороформ, — сказал офицер, — а взоры всей армии и полковая музыка. Тогда, быть может, он был бы спасен!» Хирург не разделял мнения этого офицера, но полковой священник несомненно пришел бы в

восхищение от его чувств.

Было бы излишне, после всех этих соображений, распространяться о безнравственном характере гашиша.

Сравню ли я его с самоубийством, с медленным самоубийством, с всегда отточенным и всегда окровавленным смертоносным оружием, — ни один разумный человек не сможет возразить мне. Уподоблю ли я его чародейству, магии, пытающимся, — при помощи таинственных всеисцеляющих средств, ложность или действительность которых одинаково нельзя доказать, — достигнуть власти, недоступной человеку или доступной лишь тому, кто признан достойным ее, — ни одна философски настроенная душа не отвергнет этого сравнения. Если Церковь осуждает магию и колдовство, то именно потому, что они восстают против предначертаний Божьих, не признают работу времени и хотят сделать излишними, в качестве условий существования, нравственность и чистоту; тогда как она, Церковь, считает законными, истинными только те сокровища, которые приобретены усилиями доброй воли. Мы называем мошенником игрока, который нашел способ верного выигрыша; как назовем мы человека, который хочет на несколько грошей купить себе счастье и гениальность? Тут сама безошибочность средства указывает на его безнравственность, как предполагаемая безошибочность магии налагает на нее адскую печать.

Нужно ли прибавлять, что гашиш, как все одинокие наслаждения, делает личность бесполезной для общества, а общество — излишним для нее, побуждая ее к постоянному самовосхищению, толкая ее изо дня в день к краю той сверкающей бездны, в которой она находит свое отражение — отражение Нарцисса.

Но, быть может, взамен своего достоинства, честности и свободы воли человек может извлечь из гашиша большие духовные преимущества, воспользоваться им, как своего рода мыслительным механизмом, как ценным инструментом? Вот вопрос, который мне часто приходилось слышать, — и я отвечу на него. Во-первых, как я уже обстоятельно разъяснил, гашиш пробуждает в человеке только то, что

составляет содержание его собственной личности. Правда, это содержание его личности является здесь как бы возведенным в кубическую степень и развернутым до своих высших пределов, и так как не подлежит сомнению, что воспоминание о пережитом не исчезает по окончании оргии, то надежды этих *утилитаристов* кажутся с первого взгляда не лишенными некоторых оснований. Но я попрошу их обратить внимание на то, что мысли, из которых они рассчитывают извлечь такую пользу, в действительности отнюдь не так прекрасны, как они представляются в своем временном облачении, покрытом волшебной мишурой. Они тягогекют скорее к земле, чем к небу, и обязаны значительной долей своей красоты тому нервному возбуждению, той жадности, с какой наш разум набрасывается на них. К тому же, эта надежда вертится в порочном кругу: допустим даже, на минуту, что гашиш действительно дает или, по крайней мере, усиливает творческую способность — но ведь они забывают при этом, что в природе гашиша лежит ослабление воли и, таким образом, он дает с одной стороны то, что с другой стороны отнимаете, а именно — фантазию — без способности воспользоваться ею. Наконец, представив себе даже человека, настолько ловкого и сильного, что он может избежать такой альтернативы, — нужно подумать еще об одной опасности — роковой, ужасной опасности, связанной со всякими привычками. Всякая привычка скоро превращается в необходимость. Кто станет прибегать к яду, *чтобы* мыслить, вскоре не сможет мыслить *без* яда. Представляете ли вы себе ужасную судьбу человека, парализованное воображение которого не может более функционировать без помощи гашиша или опия?

В философских исследованиях, человеческий разум, подражая движению звезд, должен описать кривую, которая возвращает его к точке отправления. Сделать заключение значит завершить круг. Я говорил уже в начале о том удивительном состоянии, в которое человеческий дух повергается как бы особой благодатью; я сказал, что, стремясь окрылить свои надежды и унести в бесконечность, он проявлял, во всех странах и во все времена, го-



ряечное влечение ко всякого рода снадобьям, не исключая и вредоносных, которые, возбуждая его существо, могут хоть на мгновение открыть ему временный рай, предмет всех его вожделений; этот мятущийся дух, бессознательно уносящийся к пределам самого ада, свидетельствовал таким образом о своем первородном величии. Но человек не настолько беспомощен, не настолько лишен честных средств для достижения неба, чтобы ему необходимо было прибегать для этого к разным снадобьям и к колдовству; ему вовсе нет надобности продавать свою душу, чтобы заплатить за опьянительные ласки и благосклонность гурий. Что такое рай, купленный ценой вечного блаженства? Я представляю себе человека (назовем ли мы его брамином, поэтом или христианским философом) на вершине духовного Олимпа; вокруг него — музы Рафаэля и Мантини, поддерживая его в продолжительных позах и усердных молитвах, предаются благороднейшим танцам, обращают к нему самые нежные взгляды, самые ослепительные улыбки; божественный Аполлон, владыка всякого знания (Аполлон Франкавиллы, Альберта Дюрера, Гольпиуса — или еще какого-нибудь художника, — не все ли равно? Разве нет своего Аполлона у каждого человека, который достоин этого?), ласкает своим смычком самые тонкие струны его души. Внизу, у подножия горы, среди терний и грязи, толпа людей, стадо илотов, корчит гримасы наслаждений, испускает рев — под влиянием ядовитого зелья; и поэт со скорбью говорит себе: «Эти несчастные, не знавшие ни поста, ни молитвы и отказавшиеся от искупительного труда, надеются, посредством черной магии, сразу подняться на сверхъестественную высоту. Магия издевается над ними и зажигает для них огни ложного счастья и ложного просветления; между тем как мы, поэты и философы, достигли возрождения души упорным трудом и созерцанием; неустанным упражнением воли, благородством и постоянством стремлений, мы создали для себя сад истинной красоты. Памятуя слова, гласящие, что вера двигает горами, мы сотворили то единственное чудо, которое дозволено нам самим Богом».

Ф. Леммермауэр



ГАШИШ

# Haschisch



von

Fritz Lemmermayer

Illustriert

von

G. Sieben.

Budapest,

Verlag

von

Gustav Grimm.



МОСКВА.  
Типографія Вильде, Малая Кисловка, соб. д.  
1903.

«Гашиш», эту повесть не я сочинил,  
Она родилась на востоке,  
Я лишь самородок-алмаз огранил,  
И блеск ему дал огнеокий.  
Пройдут в ней события череда за чередой,  
Так в путь же смелее, читатель, за мной.

*Густав Гримм*

В Алжирии, в горах Сбаха, на берегу озера Мурин, давно, в далекие времена жил знаменитый и мудрый человек. Он назывался — Акбар и принадлежал к племени кабилов, сильному, дикому и мужественному народу, обитавшему в горах и выше всего ценившему свободу; этот народ сам выбирал себе вождей. Слава Акбара была так велика, что однажды он был избран вождем, или амином. Долгие годы управлял Акбар своим народом с мудростью и справедливостью, не тяготясь своими заботами, без пристрастия и корыстолюбия, и кабилы привыкли ценить, любить и уважать своего правителя.

Слава о его мудрости распространилась так далеко, что даже губернатор соседнего испанского владения Орана, гордый испанский гранд, не гнушался амина Акбара и во многих случаях просил его мнения или его совета.

Однажды весной Мираб, так же, как и Акбар, благородный вождь соседнего арабского племени, пришел к дому Акбара в сопровождении только одного слуги, который постучался в ворота. Вождь или, по арабскому названию, каид Мираб был принят Акбаром со всеми знаками уважения и внимания, какие предписывало восточное гостеприимство.

После того, как оба мужа оказали друг другу должное приветствие, Акбар усадил своего гостя на мягкие, шелковистые ковры и спросил:

— Какой счастливой случайности обязан я высокому посещению моего дома каидом Мирабом? А что твое прибытие ко мне счастливо, я вижу по выражению твоего лица, мой дорогой гость.

Каид с улыбкой погладил свою длинную белую бороду и ответил:

— Предчувствие не обманывает тебя, амин Акбар, — обстоятельство чрезвычайное и счастливое из счастливых привело меня к тебе. От всего сердца я верю, что оно счастливо для нас обоих; не можешь ли ты, мудрец, догадаться, что это такое?

— Я не знаю,— ответил Акбар, — я большой любитель трудных задач, но ведь ты не даешь мне загадки.

— Хорошо, — сказал араб, — тогда я расскажу тебе историю.

— Отлично, — проговорил Акбар, — я также любитель и хороших историй. Рассказывай, рассказывай.

— Постарайся найти ее хорошей, когда я дойду до конца. Итак, слушай.

Каид начал свой рассказ.

— Среди арабского племени находится одна прелестная, добрая и умная девушка. Она живет под бдительным присмотром в роскошных садах ее отца, который любит ее и хранит как зеницу ока. Она резвится в них, предаваясь невинным играм, зная о жизни только из сказок и рассказов. Верная служанка, ее неустанная Шехерезада, рассказывает ей их. От нее узнает она о чужих землях, далеких народах, о любви и военных подвигах. И девушка с горящими от любопытства глазами следит за полетом прихотливой фантазии, раскрывающей перед ней дивные картины, неведомую ей жизнь... Так продолжалось долго, пока она не познакомилась однажды с прекрасным и благородным юношей, единственным сыном своего отца, который стал часто видеться с нею, уезжая как будто на охоту.

Рассказчик остановился.

— Ну, что же? Дальше! — воскликнул Акбар, любопытство которого было затронуто.

— Я почти кончил, так как развязка самая обыкновенная, — ответил каид. — Молодые люди полюбили друг друга, забыв весь мир. Коротко и ясно: девушка — моя дочь Зюлейка, юноша — твой сын Али.

Легкая улыбка скользнула по лицу Акбара, но он остался молчаливым, пока араб не заставил его нарушить это молчание.

— Ответь же, нравится ли тебе эта история?— сказал он.

— Ты поразил меня, — ответил Акбар. — Позволь прежде всего поблагодарить тебя за твои дружеские слова и за похвалу моему сыну, которой он заслуживает. Не думай, что во мне говорит отцовское пристрастие, потому что я

знаю цену моему сыну. Он мое единственное дитя, мое сокровище, и во мне нет желания, направленного против его счастья.

— И я принес ему его, — прервал речь Акбара каид Мираб. — Единственная моя дочь, Зюлейка, это роза, благоухание которой наполняет радостью мой дом. Клянусь бородой пророка, и ты должен мне верить, что я говорю правду. Против обычая я пришел к тебе сватом. Их любовь сильнее нашей воли; они скорее умрут, чем расстанутся. Рука с рукой пришли они ко мне, чтобы я благословил их союз, и теперь я прошу об этом у тебя. Али сам просил меня об этом. Застенчивость мешает ему обратиться к тебе самому, и, кроме того, он боится получить отказ из твоих уст.

— Теперь для меня ясно его поведение за последнее время, — сказал амин Акбар. — Как сумасшедший бродит он вокруг дома, разговаривает сам с собою, не отвечает на вопросы. То он ищет уединения, то бросается на охоту, ищет развлечений... Я думал даже, что он болен: теперь все объяснилось: болезнью была любовь.

— Говори же «да»! — горячо воскликнул каид.

— Это трудно...

— Как? Разве ты имеешь что-нибудь против меня, моей дочери или моего племени? — воскликнул каид.

— Решительно ничего. Но Али кабил, а Зюлейка арабка, союз их будет неслыханным, хотя они дети вождей, амина и каида.

— Но разве оба племени не одинаково хороши? Они живут в мире с тех пор, как я это могу помнить, хотя пастухи вступают иногда между собой в распри.

— Но этот союз будет против обычая.

— Что обычай! Неужели ему нужно, как идолу, приносить человеческие жертвы?

— Разве ты не чтешь обычаев предков?

— Нет обычаев; есть только привычки.

— Но привычка — завет, который свято чтится целые столетия.

— Любовь еще святее!

— Даже когда она восстает против старых законов?



— Законы сердца еще старше.  
— Значит, ты ставишь выше всего любовь?  
— Я думаю, что любовь освящает все.  
— Мне странны твои речи.  
— И я не узнаю мудрого, справедливого амина Акбара.  
— Я боюсь, что союз кабила с арабкой не будет благословен небом и принесет горе.

— Большее горе будет, если он не состоится, и не состоится по твоей вине. Нельзя противиться тому, что предопределено судьбой. Твой отказ посеет вражду между двумя мирными, дружественными племенами, возгорится война. Подумай, сколько будет несчастных... И в твоей власти предупредить все это.

Амин Акбар в глубокой задумчивости большими шагами ходил по комнате, поглаживая свою длинную седую бороду. Он любил своего сына, но понимал невозможность женитьбы его на арабке.

— Ты прав, — сказал он, наконец, своему гостю. — Пусть между нами не разразится гроза, в которой погибнут невинные. Я знаю, что твоя дочь прелестная девушка и вполне достойна моего сына. Людям нельзя идти против судьбы. Мою грудь наполняет радость, но в ней копошится и тревожное предчувствие.

— А я вижу и чувствую только радость! — воскликнул с одушевлением каид. — Вот моя рука; дай мне свою, друг!

— Вот она! Итак, свадьба решена, и да благословит Аллахом наших детей!

Оба вождя крепко пожали друг другу руки.

Когда оба несколько успокоились, каид предложил сыграть партию в шахматы, чтобы отвлечь амина от тревожных мыслей.

— Я всегда готов играть, — ответил амин.

— Ты искусный мастер этой игры, — заметил амину каид, — и мне приятно с тобой сразиться.

Амин Акбар проводил своего гостя в соседнюю комнату, где были мозаичные столы для шахматной игры с фигурами из слоновой кости, и оба опустились на ковры. Каиду Мирабу пришлось играть белыми, и он с горячностью

сделал несколько ходов. Амин Акбар, наоборот, всегда играл вдумчиво, глубоко обдумывая свои ходы; но теперь что-то мешало ему сосредоточиться на игре, и он сделал несколько оплошностей.

— Ты рассеян, — заметил ему каид. — Возьми себя в руки! Твоя тура в опасности, и пешкой я делаю шах твоей королеве.

— Ничего не значит; я закрываю ее конем.

— Идет! Теперь в опасности твой король.

Они продолжали игру. Время от времени хозяин дома поглаживал рукой свою длинную белую бороду и устремлял взгляд в окно, в котором раскрывался чудный ландшафт. Казалось, что он поджидал кого-то.

Игра продолжалась уже почти час, и надежда победы колебалась с одной стороны на другую. Наконец, каид занял господствующее положение.

— Еще раз, будь внимательнее! — воскликнул он. — О чем ты думаешь? Смотри: шах королю!

— Я закрываю его офицером.

— Опять шах!

— Я отодвигаю его назад.

— И он погиб...

— Посмотрим... Возможно! Да, правда, мат! Ты побил меня сегодня два раза, — сказал амин Акбар, мягким движением руки смешивая фигуры. — Посмотри: вот идет мой сын!

Оба старца встали и, подойдя к окну, увидели Али, который на молодом и горячем арабском жеребце возвращался с соколиной охоты; сбоку тоже прыгали две гончие собаки. Всадник казался сросшимся со своим конем, который послушно исполнял волю своего господина. Али любовно гладил его по глянцевитой шее и горделиво сидел в седле. Когда он подъезжал к дому, амин слегка отступил от окна, чтобы дать гостю большую свободу любоваться красивым зрелищем. Казалось, ему хотелось сказать: смотри, какой у меня сын!

И каид любовался этой сценой. Слуга взял у Али с рукавицы сокола; другой взял собак, которые с радостным



лаем бросались к своему господину; третий взял под уздцы коня, чтобы отвести его в конюшню, после того, как Али соскочил с своего любимца. Тогда он пошел в комнату, где в молчании ожидали его два старика. Он был прям и строен, как кедр, и на его лице цвела весна; у него были широкие плечи и железные мышцы; он был умен, крепок и силен, как герой. Укрощать коней и охотиться за львами было его обыкновенным занятием. Далекие путешествия в чужие земли развили в нем ум и любознательность. Он едва перешел из юности в мужество, когда красота женщин становится уже опасной, но он не обращал на них внимания, пока, наконец, не полюбил Зюлейку. Любовь так овладела им, что ни за что на свете не расстался бы он с Зюлейкой, хотя бы для этого пришлось пройти сквозь небо и ад.

— Прекраснейший мужчина получить прекраснейшую женщину, — пробормотал Мираб, отходя от окна, чтобы встретить вновь прибывшего. Али вскоре вошел и низко поклонился отцу. Он не знал о прибытии каида и не заметил его сразу, потому что Мираб стоял в тени драпировки. Амин Акбар подошел к сыну и сказал, взяв его за руку:

— Смотри, Али: здесь отец твоей невесты!

Пораженный неожиданной радостью, Али стоял как изваяние; его темные, глубокие глаза загорелись, и он посматривал то на отца, то на каида, не смея верить своей радости. Наконец, в восторженном порыве он бросился к ногам своего отца.

— Наконец, я знаю твою любовь, которую ты от меня тайл, — сказал ему старик, — возьми же Зюлейку и да благословит вас всемогущий Аллах. — И он положил свои руки на голову сына,

С этого часа брак между Али и Зюлейкой был решен.

## II

В это самое время Зюлейка была в саду вместе со своей служанкой и отчасти поверенной, мавританкой Мирцей; она ожидала возвращения своего отца. Мирца сначала рассказывала ей сказки, но девушка слушала их рассеянно. С тех пор, как она услышала горячие признания Али, рассказы Мирцы потеряли для нее всякий интерес. Какие бы картины ни развертывали они в ее воображении — краски их бледнели перед той волшебной панорамой, какую открывала перед нею любовь.

— Мирца, — воскликнула она, — знаешь ли ты, как сладко любить! Я знаю это и скажу тебе; любить — значить все потерять для того, чтобы все найти. И я люблю! Я люблю Али. Его речи слаще меда, но более всего он очаровал меня своим пением. Когда он говорил мне свои признания, мне казалось, что я пью огонь. Я потеряла чувство и волю, желаю только одного, чтобы Али был моим вечно. Я счастлива, невыразимо счастлива. Мне кажется, что весь мир существует только для меня одной; для меня цветут розы, поют соловьи, порхают бабочки. О Мирца, я так счастлива, что не могу тебе высказать! Идем же, будем радоваться вместе.

Быстрыми шагами пошла она из сада, легкая и грациозная, как газель. Она сбросила с себя покрывало, оставшись полуобнаженной; формы ее тела так были дивно хороши, что даже мавританка, глядя на нее, скалила улыбкой свои белые зубы. Они пришли на террасу, украшенную воздушной мавританской резьбой и великолепными зелеными пальмами.

— Я хочу здесь танцевать. — сказала Зюлейка. — Бей в тамбурин, Мирца!

Служанка села у решетки, взяла тамбурин и стала отбивать на нем такт. Юная арабка принялась танцевать. Малейшее ее движение было полно грации, жаждающая ее поза представляла картину. Мирца с восхищением смотрела на свою госпожу и думала, как очарован был бы Али, если бы

увидел ее теперь. Она поводила бедрами, плавно, округленным движением поднимала над головой руки и тихо, точно в истоме, склонялась назад, изгибаясь, сверкая глазами, словно маня к себе... И вдруг вздрагивала, делала прыжок, кружилась, отчего легкая кисея, накинутаая на ее плечи и грудь, вздымалась парусом, и, грациозно покачиваясь из стороны в сторону, неслась по террасе на кончиках шитых золотом туфелек, точно плыла по воздуху.

Все чаще и чаще бил тамбурин, все огненнее и живее становился танец. Глаза Зюлейки искрились, розовые губки, открывшись, застыли в улыбке, и грудь высоко поднималась порывистыми вздохами. Вспугнутые речные голуби кружились вокруг нее, дополняя эту воздушную пляску.

— Ах! Почему тебя не видит теперь Али! — вырвалось у мавританки.

— Танцуя, я думаю о нем, и мне кажется, что он здесь со мною! — ответила Зюлейка.

Мирца увлеклась сама и все чаще и чаще была в тамбурине, ускоряя такт танца и превращая его в безумную пляску Менады.

В это время на террасу быстро вбежала служанка и проговорила:

— Госпожа! Каид вернулся домой и просит тебя к себе. С ним Али, сын амина!

Зюлейка остановилась, и Мирца отложила в сторону свой инструмент.

— Я сейчас приду, — ответила Зюлейка, покрасневшая от быстрого движения и радости. — Одевай меня, Мирца!

Служанка быстро подала ей покрывало, снова скрывшее под собою прелестные формы молодой девушки, и Зюлейка вошла в дом, где ее ожидали отец и Али. Грудь ее порывисто вздымалась от танца и глаза были опущены вниз. Она показалась Али прекраснее, чем прежде; огонь вспыхнул в его глазах, и он не мог выговорить ни слова.

Каид с улыбкой прервал это молчание.

— Глупые дети не знают, что им нужно делать, — сказал он. — Радуйся, Зюлейка: мы приехали от отца Али.

Она вздрогнула.

— Говори же, Али, — продолжал каид, приближая Али за руку к Зюлейке.

— Зюлейка! — проговорил Али в радостном порыве, — отец приказал передать тебе, что считает тебя прекраснее и достойнее всех девушек, и сердце его исполнится радостью, если ты дочерью войдешь к нему в дом.

В эту минуту их взгляды встретились; в страстном порыве их повлекло друг к другу, обоим казалось, что они на небе.

И Али не выдержал; он стремительно бросился к своей невесте, обнял ее сильными руками, и их губы слились в знойном поцелуе.

— Довольно! — добродушно проговорил каид, — впереди еще много времени для поцелуев.

Они отошли друг от друга, и Зюлейка в девичьем смущении удалилась в свою комнату.

Остаток дня она провела в спокойном уединении, отдаваясь сладким мечтам о будущей жизни вместе с Али; она грезила наедине и только перед сном позвала к себе Мирцу.

Они снова заговорили о любви.

— Ах, Мирца! — воскликнула она, — с каждым часом все ближе и ближе то время, когда мы, наконец, будем вместе. Понимаешь ли ты, что я чувствую? Я не могу тебе этого высказать: это все равно, что видеть музыку. Прекраснее его нет в целом свете! А как он поет! Перед его голосом не устоит ни одно сердце. Своим голосом он может покорить храбрейших воинов, завоевать целые страны... Он волшебник, когда поет!

— Ты увлекаешься, — проговорила мавританка, скаля свои белые зубы. — Влюбленные всегда увлекаются.

— Я не увлекаюсь, — ответила Зюлейка. — Подожди немного, ты испытаешь на себе его силу; он волшебник и перенесет тебя в рай. Для меня одной он поет и мне одной будет принадлежать... Ах, как я невыразимо счастлива! Счастье делает добрым: мне хотелось бы осчастливить всех людей, чтобы они могли радоваться вместе со мною.

Долго проговорили между собою девушки; Зюлейка, открывая свое сердце, Мирца, радуясь на свою госпожу. Наконец, Зюлейка позволила себя раздеть и уложить в мягкую постель. Когда она уже лежала, потягиваясь в сладкой дремоте, мавританка сказала ей:

— Ты прекрасна, но неужели ты думаешь, что всегда останешься такой же? И для тебя наступить старость; твои волосы поседеют, твои щеки увянут, грудь высохнет, выпадут зубы...

— Фуй, Мирца! — воскликнула Зюлейка, — зачем говоришь ты мне все это? Неужели ты хочешь отравить мне мою радость?

— Потому что я люблю тебя, госпожа, и потому что я хочу, чтобы ты вечно была молодой и прекрасной... Слушай, я знаю тайну: в нашей земле, в двух часах ходьбы отсюда, среди деревьев и скал есть источник; он называется Вад эль Кебир. Он имеет чудную силу: тот, кто в нем выкупается, на всю жизнь остается молодым и красивым. Это перед смертью открыла мне моя мать, а ей поведала знакомая с волшебствами женщина. Зюлейка, выкупайся в этом источнике — и ты на всю жизнь сохранишь свою красоту!

Юная невеста выслушала это с большим интересом.

— Благодарю тебя, — сказала она, — ты очень добра, Мирца. Но не чары ли это злых духов? Если я послушаюсь твоего совета, не накажет ли меня Аллах? Может быть, в источнике скрыта погибель?

— Нет, — ответила Мирца, — это святой источник, на котором почиет благословение. Исполни, что я тебе сказала!

Вскоре после этого Зюлейка заснула, убаюканная грезами.



### III

Зюлейка решилась последовать совету своей преданной служанки Мирца. Любовь возбуждается привлекательностью и, чтобы не потерять своей красоты и сохранить любовь Али, она решилась выкупаться в чудесном источнике. Рано утром, еще до восхода солнца, вышла она из отцовского дома со своей верной мавританкой и направилась по незнакомой ей дороге.

Дорога шла среди гор; орлы срывались над ними со скал, бросая свою добычу, и величественно парили над их головами; иногда вой шакалов заставлял ее вздрагивать, но ничто не могло поколебать ее решения: для Али она готова была пролить свою кровь, — почему же ей не сохранить для него свою красоту? От этого намерения не отказалась бы ни одна женщина. И Зюлейка шла вперед, несмотря на мелкие и острые камни, которые кололи ее нежные ноги сквозь легкие сандалии.

Солнце между тем выплыло на небо и облило все золотистым пурпуром. Безоблачное голубое небо обещало чудный день.

— Мирца, — сказала Зюлейка, — я вижу по солнцу, что мы идем уже более одного часа. Когда же мы придем к источнику?

— Еще через час, госпожа, — ответила служанка, — мы услышим его журчание; иди же и не бойся; помни, что ты будешь прекраснейшей женщиной в целом свете!

— Но я устала, Мирца! подошвы мои горят; дорога так трудна и камениста... Мне чудится, что на меня кто-то смотрит.

— Разве ты боишься?

— Это не трусость, но я боюсь, что я совершаю запрещенный поступок. Если бы отец знал, что я ушла так далеко от дома!

— Он этого не знает, — перебила Мирца, — он еще ночью уехал по своим делам, и мы вернемся до его прибытия. Никто не видел, как мы ушли, и о нас будут думать,

что мы в своей женской половине. Идем же, скоро ты увидишь чудо!

Мавританка взяла за руку свою госпожу и с веселым смехом повлекла ее вперед.

Зюлейка, думая о своем возлюбленном, охотно пошла за ней и ничего более не спрашивала.

Узкая тропинка вилась среди диких скал; некоторые из этих скал были похожи на замки, построенные титанами, другие на чешуйчатых драконов. Наконец, обе девушки взобрались на вершину, с которой открывался чудный вид далеко вокруг. Из груди Мирцы вырвался крик восторга, и она сделала движение рукой, приглашая Зюлейку полюбоваться дивной картиной. Все было залито солнечным светом. Вдали полукругом тянулись голубые цепи гор, упираясь в сверкающее небо. Глубоко внизу, в зеленой равнине были разбросаны жилища кабиллов и арабов. К этой долине спустились из гор прихотливый ущелья, заросшие кудрявой зеленью деревьев. Зюлейка стояла, как очарованная.

— Взгляни туда, — сказала ей мавританка, — видишь ли ты вон там, в скалистом ущелье, зеленый оазис? Это Вадэль Кебир.

— Непонятное чувство охватило меня, — ответила Зюлейка. — Идем же...

Девушки спустились в долину, на зеленой траве которой смарагдами сверкала роса, и направились к ущелью, похожему на пещеру и заросшему деревьями.

— Слушай! — блеснув глазами, воскликнула Мирца. — Ты ничего не слышишь?

— Я слышу журчанье падающей воды, — ответила Зюлейка.

— Это источник; ты сейчас его увидишь.

Скоро они вошли в лес, наполненный бальзамическим запахом цветов; деревья так были перевиты ползущими растениями, что непривычному трудно было найти в нем дорогу. Наконец, они добрались к гроту, из которого жемчужной пылью бил фонтан прозрачной как хрусталь воды.

— Мы у цели, — сказала Мирца. — Разве это не чудо и я не была права?

Зюлейка испустила крик восторга, который подхватило и унесло далеко шаловливое эхо.

Вековые деревья обступали этот жемчужный водопад, и зеленый шатер их листьев закрывал от знойного солнца холодную влагу. Светлым ручьем бежала она среди причудливых скал, образуя водопады и водоемы, и вливалась в небольшое озерцо с золотистым песчаным дном... Солнечные лучи изредка врываются в этот тенистый уголок сквозь шелестящую листву деревьев, и тогда в жемчужных брызгах играла ослепительная радуга, придавая источнику сказочную красоту.

Зюлейка стояла, охваченная восторгом, а Мирца торопила ее раздеваться и скорее сойти в воду.

Наконец, Зюлейка опустила на камень, покрытый мягким зеленым мохом, и Мирца сняла с ее ног сандалии и отстегнула богатый пояс, чтобы снять ее одежду.

— Мне послышался какой-то шорох на скале, между деревьями, — сказала вдруг Зюлейка, — ты ничего не слышишь?

— Тебе показалось, потому что ты взволнована, — ответила Мирца, — и это неудивительно, потому что сейчас в одно мгновение изменится вся твоя жизнь. Прыжок в воду — и твоя юность и красота будут вечными. Мое ухо слышит только музыку журчащих струй.

Говоря это, она продолжала раздевать свою госпожу.

Но слух не обманул Зюлейку; между деревьями на скале действительно притаился человек и жадным взором смотрел на молодую девушку. Это был эмир Рустан, охотившийся в горах и пришедший к источнику Вад эль Кебиру. Могучий, крепко сложенный человек, он любил войну и охоту, точно так же, как и удовольствия и красивых женщин. Он был нахален и зол и выше всех обычаев и законов ставил свои желания. Он был бы даже красив, если бы его правильное лицо не портили злые глаза и нервная судорога губ.

Когда он увидел перед собой Зюлейку, он подумал сначала, что это русалка. Глаза его загорелись, он был поражен ее красотой и жадно смотрел на Зюлейку. Что ему бы-

ло за дело до обычая страны, которым девушке дозволялось обнажать себя только перед любимым человеком; он, удерживаемый на месте магической силой, забыл, что наносит ей оскорбление, которое можешь смыть только его смерть. Им овладел демон, и он смотрел и смотрел, очарованный красотой Зюлейки. А она была прекрасна, как день; на ее белую, как слоновою кость, шею темными локонами спускались волосы; она была стройна, как платан, сверкающий своим серебристым стволом; ее губы были, как коралл, а темные, глубокие глаза мерцали как звезды из-под ресниц, черных, как вороново крыло.

Легким скачком прыгнула она в воду, и эмир видел, как резвилась она в серебристой влаге; все ее движения были полны безыскусственной грации, а когда она поднималась из воды и поднимала к волосам свои руки, с них сыпались в источник бриллиантовые капли. Она казалась ему сиреной, и он клялся сам себе, что завладеет ею какой бы то ни было ценой, хотя бы ценой собственной жизни. Он чувствовал, что навеки утратит покой, если не достигнет этого. Одно желание, одна мысль наполняла его: эта женщина должна ему принадлежать.

Зюлейка продолжала резвиться в воде; она то отплыла на середину, то приближалась к берегу и смеялась с Мирцей.

— Мирца, разве я не красива? — кричала она.

Эмир не упускал из глаз ни одного ее движения. Он стоял, точно прикованный к земле. Страсть охватывала его. Он боролся с собой, чтобы не броситься к девушке и не унести ее на своих могучих руках.

Однако Мирца просила свою госпожу окончить купанье. Зюлейка вышла на берег и стала украшать свои волосы нитками жемчуга. В это время на скале раздался шум; эмир оставил своего коня в долине под присмотром слуги, который заснул; конь вырвался и прибежал по следам своего господина. Эмир с досадой обернулся к нему и схватил его за узду.

Быстро вскинула Зюлейка кверху голову и увидела эмира; крик испуга вырвался из ее груди, краска залила ее

щеки, и она едва не лишилась чувств. Мирца окаменела. Зюлейка быстро выпрыгнула на берег и, спрятавшись за деревьями, поспешно стада одеваться. Мирца тоже бросилась к ней на помощь.

— Горе мне! — вскричала Зюлейка. — Если об этом узнает Али, он убьет этого человека. Не знаешь ли ты, кто это, Мирца?

— Эмир Рустан! — ответила служанка.

— Могущественный эмир! О Аллах! Будет горе! Зачем я послушалась твоего совета, Мирца! Я не должна была купаться в этом источнике, он принесет мне несчастье. Судьба не позволяет идти против себя. Мы должны подчиняться тому, что она нам дает. Ты возбудила во мне пагубное желание выделиться из всех людей. Из этой воды поднялся демон, чтобы разлучить меня с Али, преследовать нас своим мщением — и это моя вина!

— Не говори так! — вскричала оправившаяся Мирца. — Все будет хорошо. Идем же, идем!

Обе девушки поспешно побежали домой. Зюлейка не могла успокоиться, не могла забыть, что посторонний человек видел ее без покрывала. В страхе ей казалось, что ее преследуют фурии смерти. Ей приходила на память страшная история, рассказанная ей Мирцей. Это была история про царя Кандавла и его жену Родопу. Кандавл очень любил Родопу, которая была чудно красива, и хвастался красотой своей жены перед своим другом, Жиго. Желая, чтобы Жиго убедился в этом на деле, Кандавл устроил так, что тот тайно увидел раздетую Родопу. Но последняя узнала об этом оскорблении и заставила Жиго убить Кандавла и самому сесть на трон, став его женой.

Зюлейка с горечью в сердце сознавала, что она одна виновата в том, что ее увидел без покрывала чужой человек, и была убеждена, что с ней и с Али непременно случится что-нибудь недоброе.

Рустан, охваченный вспыхнувшей в нем страстью, издали провожал девушек, чтобы узнать, откуда и кто прельстившая его сирена. Когда Зюлейка вошла в дом каида Мирраба, он понял, что она его дочь, и поклялся овладеть ею

каким бы то ни было средством, злым или добрым.

Зюлейка провела день в полном одиночестве, употребив все свои силы, чтобы успокоиться. Она боялась сказать о нанесенном ей оскорблении своему жениху, зная, что тогда тот убьет эмира и от этого произойдет большое несчастье. Наконец, она решила, что откроет свою тайну Али после свадьбы.

## IV

Охваченный желанием скорее назвать Зюлейку своей, эмир Рустан, не откладывая, начал действовать. Прежде всего, он отправился к каиду, окруженный многочисленными слугами. Он был принят как эмир, со всем подобающим ему почетом.

Это было как раз в то время, когда габсбургский Карл Пятый царствовал над огромной империей, в которой никогда не заходило солнце. Эмир пользовался расположением императора, которому оказал многочисленные военные услуги, особенно при изгнании из Алжира и Туниса морских разбойников. Пользуясь этим расположением, Рустан стал очень могущественным человеком и привык, что все беспрекословно подчинялись его воле.

Одетый в великолепное платье, надменно и гордо стоял он перед каидом Мирабом, прося у него руки его дочери.

Красота Зюлейки стала известна ему по слухам, так объяснял эмир свое появление, но когда он, случайно проезжая мимо сада, сам увидел ее, то убедился, что красота Зюлейки превзошла его ожидания. Он любит ее и желает быть ее супругом. Он благоразумно умолчал, однако, что видел Зюлейку купавшейся, чтобы не возбудить гнев старого каида.

Просьба эмира скорее походила на приказание, но каид Мираб, зная дикий нрав прибывшего, ответил вежливо и с достоинством, что был бы очень рад отдать свою дочь за такого могущественного и любимого императором мужа, но Зюлейка уже счастливая невеста, и скоро будет ее свадьба.

Рустан вскипел. Ему отказывают в руке прекраснейшей женщины, — ему, которому беспрекословно повинуются целый народ! Объяснения отца его не удовлетворили. Он требовал, чтобы ему отдали Зюлейку. Он не желал слушать более спокойных и вежливых слов каида, охваченный своей страстью.

Гневными словами обрушился он на Мираба и, выходя гордыми шагами из дома, крикнул старому кайду:

— Я еще вернусь и я не успокоюсь до тех пор, пока Зюлейка не будет у меня в руках. Я употреблю для этого всю мою силу, которая велика. Мне трудно противиться!

Гневно вскочил он на свое украшенное пурпуром и золотом седло и помчался таким галопом, что его слуги далеко отстали на своих лошадях от своего господина.

Вернувшись к себе, он гневно приказал своим слугам снять с себя верхнее платье, награждая их пинками ногой за всякую оплошность, не зная, на ком выместить свой гнев. Он отдавал приказание за приказанием; велел принести вина и позвать к нему его рабынь. Они явились с дрожью в сердце и с улыбкой на устах, потому что эмир чаще жестоко их наказывал, чем с ними веселился.

Одна из этих девушек подносила к его губам чашу с вином, прозрачным, как рубин, другая сидела у его ног, играя на тамбурине, третья склонялась к нему, обнимая его мягкими руками, и напевала веселую песню:

Без рубиновых губок, без бокала вина,  
Без веселья и смеха наша жизнь не полна...

Но Рустан оттолкнул ее резким движением.

Позднее пришли друзья, среди которых был один из полководцев Карла Пятого, и ночь превратилась в оргию.

Неустршимый и деятельный на войне и на охоте, дома Рустан был ленив, жесток и неводержен. Теперь он все свое время посвятил мечтам о Зюлейке и планам, как ею овладеть. На львиной охоте, мчась по следам этих благородных животных, он часто рисковал своей жизнью; мог ли он остановиться, когда дело шло о женщине?

Угрожающие намерения эмира заставили двух вождей, Акбара и Мираба, поспешить свадьбой своих детей. Наконец, наступил день, в который по магометанскому обряду была совершена эта церемония. Богато одетая и провожаемая своими родственниками, друзьями и знакомыми, вступила Зюлейка в дом своего мужа.



Долго затянулось свадебное торжество, и когда наконец гости удалились, Али остался наедине со своей возлюбленной.

Полог был застегнут; в молчании, любуясь и стыдясь друг друга, стояли они, держась за руки, как играющие дети. Тихо снял Али покрывало с Зюлейки и нежно расстегнул ее богатый пояс. Румянец смущения разлился по лицу Зюлейки, и нежный блеск ее глаз блеснул в глаза Али.

— Жена, моя любимая жена! — шептал он, привлекая ее к себе могучими руками.

В эту минуту внезапно чья-то рука распахнула полог, и у входа в комнату появился испуганный слуга.

— Несчастье! спасайся скорее, господин! — вскричал он. — Эмир Рустан приближается сюда со своими людьми. У него дурное на уме; он хочет отнять силой нашу молодую госпожу. Мы не готовы, и о сопротивлении нечего и думать. Спасайся скорее!

В эту минуту вбежал и старый Акбар.

— Две лошади готовы, — вскричал он, — скорее, или мы погибли!

Почти без чувств лежала Зюлейка на руках своего мужа. Али стоял, пораженный неожиданным ударом. Его счастьем готовилось такое горькое пробуждение. В нем загорались гнев и жажда мщения. Но ему ничего не оставалось, как послушаться отца. Почти машинально покрыл он Зюлейку своим плащом, и бегом вместе с отцом, с дорогой ношей на руках, они скрылись из дома. Али вскочил в седло, посадив впереди себя Зюлейку, Акбар сел на другого коня, и они помчались.

Лунная ночь окутывала землю серебристой дымкой; беглецы мчались по направлению, взятому амином Акбаром, и скоро услышали за собою топот скачущих лошадей эмира.

Ворвавшись в дом и не найдя в нем беглецов, эмир пришел в страшную ярость, убил нескольких подвернувшихся по дороге слуг амина Акбара, вскочил в седло и, грозный, помчался в погоню.



У Али и его отца были прекрасные лошади, и они, кроме того, опередили преследующих. Поэтому они надеялись доскакать до какого-нибудь селения кабилы и спастись в нем от яростного эмира. Али скакал, прижимая к груди свою возлюбленную и чувствуя в душе бессильный гнев против своего врага, которому он, безоружный, не мог сопротивляться. Слуги Рустана далеко отстали от него; он скакал только в сопровождении одного на лучшем коне.

Рустан скрежетал зубами и нещадно погонял своего скакуна. Пригнувшись к луке и привстав на стременах, он вглядывался в ночную мглу горящими глазами и, наконец, увидел скачущих беглецов.

Он настигал их.

Это была безумная скачка на жизнь и смерть.

Наконец, когда эмир ясно уже видел скачущих впереди всадников, у одного из которых лежала на седле женщина, закутанная в белое, он вдруг остановился и вскинул к плечу ружье. То же самое сделал и его слуга.

Почти одновременно раздались два выстрела. Амин Акбар упал, насмерть пораженный пулей, другая пуля поразила Али и его коня.

— Моя возлюбленная! — вскрикнул Али и замертво упал на землю.

В это время к ним подскакал торжествующий Рустан и, спрыгнув с коня, схватил могучими руками бесчувственную Зюлейку.

Зло смеясь, он воскликнул:

— Теперь ты моя добыча! Тебя не хотели отдать мне в жены, теперь ты будешь моей наложницей и рабыней. Я буду целовать тебя, или стегать тебя плетью когда мне это вздумается, потому что теперь я твой господин!

Его глаза блеснули хищным торжеством, и он тихо поехал, везя бесчувственную пленницу.

Несколько часов пролежал Али в глубоком обмороке. Когда он, наконец, пришел в себя, он почувствовал в левой руке жгучую боль. Из раны сочилась кровь. Но эта боль причиняла ему меньшие страдания, чем боль души. В одно мгновение он потерял все свое счастье. Слабым голосом звал он Зюлейку, но кругом царила глухая тишина. Ночь была безответна. С большим трудом он приподнялся и тогда увидел лежавшего в нескольких шагах отца. Он подполз к нему, тряс его, называл нежными именами — и все напрасно: амин Акбар был мертв, пуля проникла ему в сердце. Он стал растирать ему грудь, целовал его лоб, глаза, но уже ничто не могло возратить мертвецу жизнь.

Только теперь понял Али, что его отец мертв, и его охватила глубина его ужасного горя; отец убит и Зюлейка похищена. Слезы не давали ему облегчения и только усиливали холодный ужас его одиночества.

Напрасно Али всматривался в ночную мглу, все было мертво и пусто; он понимал невозможность преследования эмира, ему, безоружному, раненому и пешему; кроме того, на нем лежал священный долг похоронить своего отца. Он не мог оставить его там на жертву хищным птицам.

Лунный свет помог Али ориентироваться; он заметил, что невдалеке от него находится источник. С трудом поднял он тело своего отца, принес к источнику и положил на берегу, принявшись обмывать ему лицо.

Вода тускло мерцала в лунном свете, и тяжелые капли ее падали с руки Али на лицо умершего. Отчаяние грызло сердце Али. Все потерять: любимого отца, возлюбленную жену, силой похищенную эмиром. Он не знал, что ему делать; его голова была точно налита свинцом.

Он еще чувствовал на своей груди нежное и теплое прикосновение Зюлейки, чувствовал ее дыхание, слышал ее слова любви. И все это навек утеряно. Лучше было бы, если бы он умер вместе с отцом. Но он вспомнил, что должен жить, чтобы вырвать Зюлейку из рук разбойника, чтобы

отомстить за смерть отца. Ему казалось, что в тихом воздухе раздаются жалобы Зюлейки, что она в невыразимом ужасе просит его, своего супруга, вырвать ее из рук Рустана.

Фурии отчаяния овладели душой Али.

— Да будет проклят, — воскликнул он, — день моего рождения! Пусть этот день навеки оденется во тьму, не увидит ни звезд, ни луны, ни солнца! Почему я не умер в утробе матери? Я был бы теперь покоен, и мне было бы все равно! Почему один я на свете должен страдать от несправедливости и силы? Ничего мне не осталось, кроме ужаса отчаяния, и еще мести эмиру Рустану... Да будет проклят он, собака, разрушитель моего счастья! Пусть провалится земля под его ногами, пусть высохнет рука, ласкающая его, пусть его пища и питье превратятся в яд, пусть несчастье преследует его всюду.

Он рвал на себе волосы и бросался лицом на землю, зовя к себе смерть.

Внезапно в воздухе раздался острый свист, точно чья-то исполинская рука разрезала воздух огромной косой, и по телу Али пробежал холод. Он поднял голову и в нескольких шагах от себя увидел костлявого и худого человека в длинном черном плаще, который стоял, опираясь на ружье.

Его глаза были устремлены на Али, и взгляд их был остр и блестящ, как молния. Его голова, казалось, состояла из одного черепа, лоб был широк и высок, глаза глубоко ввалились в орбиты, губы бескровны, а тонкий нос, заострившись, выдавался вперед. Весь он казался бескровным, состоящим только из костей и кожи, оттенок которой был мертвенно-бледный. Глубокие морщины прорезали его лицо. Казалось, что он родился тысячи лет тому назад. Но в его глазах сквозила несокрушимая сила, а бледные губы точно улыбались в горькой иронии.

— Кто ты? — воскликнул Али. — Человек или демон, блуждающий в темноте ночи?

— Меня зовут Юсуф, — ответило видение голосом холодным и глухим, точно выходящим из гроба, от звука которого Али содрогнулся. — Я слышал твои жалобы и твой

зов, и явился тебе помочь.

— Мне помочь! — воскликнул Али. — Но разве ты можешь вернуть мне Зюлейку, мою жену? разве ты можешь воскресить моего отца?

— Что случилось, то случилось, — ответил Юсуф. — Мертвые не возвращаются. Но Зюлейку ты будешь иметь!

— Но что ты за человек! — снова воскликнул Али, пораженный магической силой его голоса.

— Не спрашивай и следуй за мной, — был ответ. — Я начал и конец. Я был при твоём рождении и буду при твоём конце.

— Так помоги же мне похоронить моего отца, — воскликнул Али.

Юсуф, закутанный в свой черный плащ, сделал знак костлявой рукой и внезапно появились темные маленькие существа, которые закружились вокруг Юсуфа, быстрые и проворные, как около своего вождя. Юсуф отдал им приказание, и с глухим завыванием они подняли тело амина Акбара и понесли его в селение кабил.

Али простился со своим отцом, поцеловал его и закрыл ему глаза.

— Итак, за мной! — воскликнул Юсуф. — Я хочу помочь тебе против эмира Рустана.

Он сделал повелительный знак Али, и тот пошел за ним, лишенный воли, точно во сне. Юсуф, не оборачиваясь, шел впереди.

Он знал, что молодой кабил идет за ним.

## VI

Небо заволакивалось грозowymi тучами. Туман рассвета окутал обоих спутников. Али озяб и дрожал. Он ослаб и душой и телом и спотыкался на каждом шагу, не переставая, однако, следовать за своим вожатым, как будто бы был его тенью. Он чувствовал, что не мог не следовать за ним, помимо всей своей воли, слепо, точно очарованный магической силой. Юсуф, несмотря на кажущуюся старость, шел смело, высоко и гордо неся свою голову. Походка его была легка и быстра; казалось, что ноги его не касались земли. Наконец, они дошли до серой палатки, похожей в утреннем тумане на летучую мышь с распростертыми крыльями.

— Мы у цели, — сказал Юсуф и потянул Али за собой в палатку костлявой, безжизненной рукой.

Внутри было темно.

— Теперь я познакомлю тебя с двумя моими дочерьми, — произнес он. — Прекраснее этих девушек нет на земле. Они охотно подчинятся твоей воле.

Он ударил в ладоши, произведя этим глухой звук. Казалось, две деревяшки ударились одна о другую. Мгновенно палатка осветилась мягким, фосфорическим светом, точно лупа выглянула из облаков, Али окаменел. Он вынужден был протереть глаза, чтобы привыкнуть к этому свету. Открыв глаза, он был поражен неведомой ему доселе картиной: в палатке, на тигровых шкурах, лежали перед ним две дивно красивые молодые девушки и улыбались ему.

— Мои дочери: Мара и Сура; следуй их советам!

С отвратительной улыбкой произнес эти слова, Юсуф исчез.

Али провел рукою по лицу; он не знал, наяву он или во сне. В таком увлекательном виде ему никогда еще не приходилось видеть красоту женщины. Он был поражен этой картиной, и в нем проснулась страсть. Он не мог думать, что на земле существует такая красота, и от волнения не мог говорить.

Девушки вывели его из этого оцепенения. Они обе под-

нялись, подошли к нему, взяли за руки и потянули к себе нежным, грациозным движением. Охваченный необъяснимым чувством, сел Али между Марой и Сурой. Девушки были замечательно похожи одна на другую, как два близнеца. Только выражение лица у Суры было серьезнее, с легким оттенком меланхолии. Обе держали свои нежные руки на его руке, смотрели ему в глаза, а их голос, казалось, выходил прямо из сердца.

— Али, — обратилась к нему Сура, — слушайся меня; перестань быть слабым, будь мужчиной! Я дам тебе провожатых; отправляйся с ними к своим, собери свой народ, иди к эмиру Рустану и отомсти за оскорбления. Объяви войну похитителю твоей жены, порази его смелой рукой, вырви из плена Зюлейку, которой грозит опасностью необузданность страсти эмира, и введи ее опять в свой дом. Берись за оружие! Еще раз будь мужчиной, героем, победителем, и мир будет принадлежать тебе.

— Не так, не так! — смеясь, произнесла сладким голосом Мара, которая казалась нежнее и милевиднее своей сестры. — Не трать напрасно лучшие дни в твоей жизни в бесполезной борьбе! Нет, мой друг, я тебе посоветую иное, и лучше моей сестры Суры. Не проливай крови! Нет ничего отвратительнее войны и ссоры! Ты еще так молод, и так прекрасен! О, я постараюсь осчастливить тебя, как только может осчастливить мужчину любящая женщина. Взгляни, жизнь так прекрасна! Но не успеешь оглянуться, как приближается старость со всеми ее отвратительными последствиями; лицо покрывается морщинами, наступают болезни, дряхлость и, наконец, смерть. А потому позволь мне поднести тебе бокал счастья, и пей из него полными глотками!

— А что последует потом, когда тело превратится в прах и пыль? — предостерегая, сказала Сура.

— Что нам за дело, существует ли рай или ад? Только настоящее принадлежит нам, — ответила Мара.

— Подумай о непрочности всего земного, — продолжала Сура.

— Потому-то мы и должны ловить радости жизни, пока живем и молоды, — воскликнула Мара. — Мы должны из-



бегать всякого горя и только наслаждаться. Все равно никто не откроет сути нашего бытия! Нет, Али! Только с грустью можем мы смотреть на звезды, не зная, увидим ли их завтра.

— Вечность важнее времени, — печально заметила Сура, все дальше и дальше отходя от Али.

— Ах, — смеялась Мара, — в раю обещают вино и мед, которыми там наполнены реки, и горячие поцелуи чернооких гурий. Но в миллион раз дороже настоящее блаженство, чем сомнительное будущее. Учение Корана обманчиво, в нем часто обман выдается за правду. Еще никем не поднято покрывало с мировой тайны; все еще покрыто мраком неизвестности. Мы знаем только, что существует на земле, где можно наслаждаться, и наслаждайся со мной, Али!

С многообещающей улыбкой, сверкая темными глазами, поднесла она ему бокал вина. Ала жадно выпил его, почувствовав, как его усталые члены приобрели прежнюю гибкость. Мара нежно склонилась к нему, обняла его, целовала своими полуоткрытыми розовыми губками. Она обнажила его рану и целовала ее, и Али все более и более отдавался ее обаянию.

Неожиданно Мара оторвалась от него и скоро вернулась, принеся с собой какой-то предмет, восхваляя его убедительными словами, как лучшее средство, чтобы забыть-ся от страданий и горестей жизни.

— Ты ранен, устал и болен, — говорила она, — тебе прежде всего нужен покой, чтобы опять собраться с силами. Взгляни на этот инструмент: он даст бальзам для твоего духа и сердца. Затянись несколько раз из этой трубки, и ты перенесешься в царство фантазии, в рай... Ты забудешь все свое горе, весь переродишься! Попробуй только!

Грациозно, с увлекательной улыбкой, поставила она перед ним кальян для курения гашиша.

Али в порыве испуга вскочил со своего места. Кабилам было строго запрещено курение гашиша, и между его соплеменниками не нашлось бы ни одного человека, нарушившего этот закон. Али уважал обычаи предков и считал гашиш изобретением ада.

— Обольстительница! — вскричал он. — Ты хочешь превратить меня в сына ада?

Но Мара сознавала свое искусство обольщения; крепко прижимаясь к нему своим горячим телом и нежно обнимая его правой рукой, она держала в левой мундштук дымящегося кальяна, который распространял одуряющий голову аромат, и щебетала:

— Попробуй, попробуй!

Страсть охватила Али; он видел перед собой только Мару, глаза которой горели нежным блеском. Сура, отсутствовавшая за это время, опять появилась. С глубоким вздохом и печальными глазами поднялась она на воздух, проговорив:

— Так будь же рабом там, где мог бы быть господином!

Али вскочил и хотел удержать ее, но было уже поздно; она исчезла, как облако на весеннем небосклоне. Ему показалось, что вместе с ней исчез и его добрый гений. Ее исчезновение отозвалось в нем сильной физической болью. Он вскрикнул и хотел броситься за нею, но Мара удержала его. Обвив его шею руками, она нежно прижалась к нему и нежными словами, в которых слышалась грусть, упрасивала попробовать гашиш.

Наконец, Али был побежден; его воля была сломлена. Теперь он был во власти Мары. Глубоким вздохом втянул он в себя поданный ему яд.

— Так, мой друг, — весело улыбнулась она, — пей забвение, испытай новые радости!

— О, как хорошо мне! — прошептал Али. — Ты права, Мара: это бальзам для моего измученного сердца! Ты мой добрый ангел! Обними меня, моя голубка, мой соловей! Ты роза Шираса! Не покидай меня, я тебя люблю!

— Я буду с тобой, пока это тебе будет нравиться, — ответила Мара.

— О, как я устал и как истомилась моя душа, — прошептал Али.

— Гашиш, гашиш! — воскликнула Мара. — Он тебя утешит и успокоит!

И Али вдыхал в себя его одуряющий аромат, как жа-



ждущий пьет воду из источника.

— Ах, как мне становится хорошо! — прошептал он, склоняясь на тигровый ковер и продолжая курение.

Он чувствовал, что сознание оставляет его и кровь его волнуется, что на него находит опьянение. Он то смеялся, то плакал. В порыве инстинктивного самосохранения он хотел отшвырнуть от себя кальян, но Мара силой удержала его руку. Сознание все более и более покидало его, и ему казалось, что все возле него крутится в каком-то вихре.

Предметы приняли для него другую форму; странные лица глядели на него, смешные, страшные и уродливые. Глаза у них выходили из орбит, они корчились, кричали, кружились, то взявшись за руки, то поодиночке. Здесь была рыба с огненными глазами, там женщина с козлиной головой. Дальше был слон с орлиными крыльями, змеи, злые духи. Страшная кабанья морда лежала у него на груди. Он слышал звуки, никогда им не слыханные, видел сочетания цветов, никогда не виданных. Да, Мара была права: он очутился в царстве фантазии.

Но ему было вполне ясно, что сознание его покидает. Еще раз открыл он глаза. Мара в очаровательной позе сидела над ним, с блестящей звездой в черных как смоль волосах и блестящими крыльями за плечами. Она простирала над ним руки, точно гипнотизируя его. Но рядом с этим очаровательным видением он заметил парящую над ним смерть в шутовском наряде, с тамбурином в руках, и был поражен сходством ее лица с лицом Юсуфа.

Али уснул, но сон его прерывался то глубокими вздохами, то счастливыми улыбками. Он видел дивные сны. А когда он просыпался, над ним нежно склонялась Мара и серебристым, чарующим голосом напоминала ему:

— Гашиш, гашиш!

Он курил, спал, и опять видел сны; как долго — этого он сам не знал. Представление о времени для него исчезло. Он был не в состоянии разграничить видения и действительность. Волшебством Юсуфа и Мары жизнь его приняла иное направление, он испытывал земное величие и блаженство.



## VII

Али увидел себя могущественным князем. Он находился в своем гареме, украшенном всевозможными драгоценностями мира и переполненном красивейшими женщинами разных стран, готовыми служить его прихотям и желаниям. Но он был мрачен. Ни грациозные танцы, ни дивное пение, ни красота подвластных ему женщин не могли вывести его из этого настроения. Он был пресыщен жизнью. Могучими глотками сразу осушил он до дна чашу веселья и теперь чувствовал себя одряхлевшим и расслабленным. Его сердце было погружено в тоску. Он старался собрать все свои силы, чтобы опять стать прежним, но уже не в состоянии был выполнить это. Он был окончательно изломанный, с расшатанными нервами и без всякой воли, человек.

Его придворный шут, евнух Гоббио, не мог сегодня развлечь его своими шутками. Гоббио представлял из себя маленькую горбатую фигурку с большой головой и выдающимся животом, на тоненьких ножках. Он пел сочиненные им стихи на восточный мотив:

Благодарю тебя, о Магомет,  
Хоть по природе я неблагодарный.  
Зачем, скажи, ты разрешил шербет  
И запретил напиток виноградный?

— Положим, мы не следуем твоему запрещению. Что нам за дело до твоего Корана? К черту дервишей и аскетов. Вина сюда! Подайте мне золотой разукрашенный бокал!

И он снова запел дребезжащим голосом:

Вина сюда! Дождусь ли я его?  
Ах, наша жизнь быстра и скоротечна.  
Нам счастье сон, а больше ничего!  
Да под луной забвенье только вечно!

— Года! — крикнул он, оглядываясь бессмысленными

глазами. — Не прав ли я? Али, мой князь и господин, величественный ага! Властелин красивейших женщин в мире! Повели, чтобы вино текло ручьями. Смотри: само небо желает этого и зовет нас к вину:

Как опрокинутый бокал над нами небосвод,  
Под ним забвенья ждет людской наш слабый род.  
Смотри, как из кувшина в чашу льются струи;  
Невеста с женихом слились так в поцелуе!

Прежде Али слушал с удовольствием подобные песни, но теперь они его раздражали.

— Залейте глотку шута вином, — крикнул он, — и отхлестайте его, чтобы он не беспокоил меня больше своей дурацкой мудростью!

— Моему господину угодно сегодня хандрить, и я оставаю его, — сказал Гоббио, не то смеясь, не то плача. И тотчас какая-то негритянка принялась хлестать его кнутом по спине, заставляя смешной припрыжкой выбежать из чертога.

Али сидел па возвышенном троне, к которому вела лестница, усталая дорогом ковром. На нем было домашнее одеяние из тонкого мягкого шелка. У его ног сидела рабыня с кальяном гашиша в руках, чтобы подавать ему его по первому знаку. Другие девушки охраняли изысканные фрукты, чтобы на коленях поднести их своему повелителю, если он обратит на них внимание; третьи стояли позади его трона из слоновой кости, разукрашенного резьбой и позолотой, и держали в руках веера из павлиньих перьев, которые неустанно колебались, навевая прохладу на Али.

С левой стороны трона стояла его фаворитка Фатима с чертами лица, похожими на Мару. В волосах ее была великолепная диадема, на руках широкие золотые браслеты, на бедрах тяжелый, разукрашенный бриллиантами и драгоценными камнями, пояс. Опираясь правой рукой на портик, левой она обнимала шею Али, и он склонил на ее грудь свою усталую голову, закрывая рукой глаза.

Как ни была прекрасна и очаровательна Фатима, но воспоминание о Зюлейке не покидало его сердца. Его думы были далеко; молчаливый и печальный, склонялся он головой на грудь Фатимы, которая напрасно пыталась нежными словами вывести его из задумчивости.

Грубо оттолкнул он испуганную Фатиму, которая, хотя и привыкла к капризам своего повелителя, но до сих пор не подвергалась ничему подобному. Он приказал позвать Юсуфа, который жил при его дворе в качестве великого визиря.

Юсуф скоро явился и осведомился о желании князя.

— Моя настоящая жизнь мне противна, — сказал Али, — она пуста и бесцельна. Я чувствую, как при такой праздной жизни все более и более угасают мои силы. Охота не увлекает меня более. Женщины моего гарема своей рабской покорностью и заученными улыбками опротивели мне. Мускулы мои одрябли. Мне хочется нового, дай мне совет! Ты хвалился, что знаешь все тайны природы. Ведь ты волшебник. Ты обманул меня своими сладкими речами о счастье... Советуй же, мудрец!

Юсуф усмехнулся с горькой иронией и сказал, надменно взглянув на Али:

— Все только мираж. Куда ни взгляни, везде ложь и обман. Мир только туманная картина, выплывшая из бесконечности, чтобы опять в нее погрузиться. Все властители мира не в состоянии изменить этого. Зачем же мучиться? Подчинись судьбе, если ты умен, как бы тяжело для тебя это ни было. Ничто не изменится, что предназначено для тебя судьбой. Все люди — потерянные. Хоть рви на себе волосы, ты ни на одну йоту ничего не изменишь. Небо уничтожает посевы, созревшие для жатвы. Чего же хочешь ты? Великолепные дворцы, в которых восседали на тронах цари, разрушены — и на их развалинах гнездятся вороны. Наслаждайся поэтому, пока жив и молод. Молодость — счастье. Вспомни советы моей дочери, твоей прекрасной подруги, Мары. Если тебе не нравится здесь более, ты волен оставить нас и отыскивать себе нового. Если окружающие тебе надоели, развлекайся другим. Ты нуждаешься в новых ощущениях и перемене жизни!



— Да, в новых ощущениях, — ответил Али, — это так. Я хочу работы, я жажду деятельности!

— Хорошо, — произнес Юсуф, — вот мой совет: я знаю одну индийскую царицу, прекраснее которой не было в целом мире и которая поклялась отдать свою руку и свое обширное царство тому из мужчин, кто пропоет в честь ее лучшую хвалебную песнь. Ты ведь обладаешь волшебным голосом; прими участие в этом состязании, которое скоро должно состояться. Далекое путешествие освежит тебя, а я буду твоим спутником.

Этот совет обрадовал Али, и он ухватился за него с жадностью. Ему хотелось не только увидеть прекрасную индийскую царицу, о которой Юсуф рассказывал чудеса, — ему хотелось показать ей свое искусство пения и победителем выйти из состязания.

Сборы скоро были окончены. На дворе дворца его ожидал белоснежный, с великолепной гривой конь. Легко вспрыгнул Али на седло, одушевленный надеждами на будущее. Бледные щеки его окрасил давно исчезнувший румянец. Веселый и радостный тронулся он в путь, уверенный в победе. За ним на вороном коне следовал Юсуф, мрачный и угрюмый, как всегда, и группой ехали другие всадники.

## VIII

Стремясь скорее достигнуть цели, Али всеми способами ускорял свое путешествие и, несмотря на разнообразные приключения, прибыл наконец в Индию. Перед ним открылась страна чудес. Через неизмеримые поля и многолюдные города лежал их путь. Али принимал участие в веселье и пирах владельцев индейских городов, в которых останавливался для отдыха. Повсюду было движение и суета. На многолюдных улицах и базарах стоял гул. Здесь попадались индусы в разноцветных одеждах, нагие занзибарцы, негры, персы в жемчужных украшениях, китайцы, дикие факиры, откормленные парсы. Набобы в златотканых одеждах ехали на конях и верблюдах. Ремесленники тут же, на улице, показывали свое мастерство, и неосторожный прохожий мог быть задет иногда такой небезопасной штучкой, как кузнечный молот. На улице же и учитель обучал своих учеников.

Факиры особенно обратили на себя внимание Али; у одного тело было выкрашено розовой краской, у другого в оранжевый цвет, у третьего в разноцветный. Неподвижно сидели они из года в год на одном и том же месте, окруженные толпой. Некоторые говорили краткие поучения, другие странными голосами выкрикивали имена святых; руки одного были вытянуты кверху, у другого в стороны, и в таком положении они были годами; третьи привязывали себя к столбу, повисая грудью на веревках, впивавшихся в тело, или бичевали сами себя до крови.

Выйдя за город, дорога опять змеилась то по прихотливым долинам и ущельям, то пересекала реки, то шла через густые тростники, в которых раздавалось рычание тигров, то пропадала в густом лесу, где на высоких бананах прыгали стаи кривляющихся обезьян.

Али был гостеприимно принят одним набобом, который между другими развлечениями, предназначенными для гостя, угостил его великолепной охотой. В огромных лесах набоба водилось множество всякой дичи и зверя, так

что охотники вполне могли щегольнуть своею ловкостью и храбростью. Но всего более Али понравилась охота на слонов. Грозная ежеминутно опасность закаляла тело и душу. Огромное животное, с поднятыми клыками и хоботом, яростно сверкая налившимися кровью глазами, мчалось на охотника, хладнокровно ожидающего его с острым копьем в руках.

Нужно было увернуться от страшного удара и вонзить свое оружие в левую лопатку, в сердце животного. Прогостив у набоба и вдоволь насладившись охотой, Али отправился далее. Цель его путешествия становилась все ближе и ближе. Он уже слышал от встречных о чудной красоте царицы, называвшейся Фараильдой, и о том, что скоро должно состояться состязание певцов, стремящихся тронуть сердце гордой царицы. И сердце Али билось от сладкой надежды.

Наконец, перед глазами путников открылась восточная столица. Крик восторга вырвался из груди Али. Он стоял на возвышении, а под ним в долине, утопающей в тени пальм и пестреющей розовыми кустами, в голубой дымке тумана величественно поднимались белые башни, кровли дворцов и пагод. Зеленые пятна садов среди белых строений увеличивали красоту картины, и над всем этим господствовал дворец с башнями и куполами; в нем жила Фараильда.

Долго стоял Али, охваченный немим восторгом. Солнце лило на землю потоки света. Когда наступил вечер, Али тронулся далее через город. Он ехал среди садов, мимо пагод и полуразрушенных гробниц с останками некогда славных князей и набобов. Саламандры шныряли под ногами лошадей, а летающие собаки чертили над головами всадников широкие круги. Проезжая мимо большого священного дерева, всего в цвету, Али увидел под ним небольшой огонек и браминов, в немом молчании совершавших священный обряд.

На другой день должно было состояться состязание в пении. Огромные толпы народа запрудили улицы, направляясь во дворец, где должно было произойти состязание.

Али смешался с толпой. Прежде чем спеть свою песню, он хотел издали взглянуть на восхваляемую женщину. Вместе с толпой он достиг дворца. Певцы уже стояли перед ним в немом ожидании; среди них были могущественные князья и набобы; блеск драгоценных камней, украшавших их одежду, сливался в яркую радугу.

Наконец, через высокие ворота на площадку перед дворцом вышла Фараильда, окруженная своими телохранителями и приближенными женщинами.

Али показалось, что он находится в сказке. Он не видал женщины прекраснее Фараильды. С царственной величием она соединяла в себе чары волшебной красоты и обаяние молодости. Она была прекраснее в тысячу раз райских гурий, и Магомет не обещал бы их правоверным после смерти, если бы увидел Фараильду. Горделиво держала она свою голову, и пурпуровые губки ее усмехались едва заметной улыбкой. На ней было легкое шелковое одеяние фиолетового цвета, все усеянное бриллиантами, которые сверкали радужными огоньками. На ее волосах, черных как ночь, блестела диадема на белоснежной чалме, увенчанной белым пером.

В нетерпении ожидали певцы, когда им будет позволено начать состязание. Фараильда села на трон. Но состязание еще не начиналось; группа баядерок исполнила прежде всего грациозный танец, окончив который, они рассыпались по обе стороны трона. Тогда запели певцы; они пели по очереди; один пел бурно, подобно ветру, порывом налетевшему на деревья, песня другого струилась как ручей, в голосе третьего звучала мольба... Но Фараильда оставалась холодной, как мрамор; ни один певец не тронул ее сердца. С милостивой холодностью поблагодарила она певцов и, чувствуя себя утомленной, возвратилась во дворец; продолжение состязания было отложено на другой день. И певцы разошлись, каждый в сладкой уверенности, что он-то и победил сердце прекрасной царицы. Али ушел последним. Он был как во сне. Во время состязания он почти не слышал певцов, весь отдавшись созерцанию Фараильды. Завтра! Завтра решится его судьба.

Весь день провел он уединенно в окрестностях города, в тени лавровых рощ, собираясь с силами и готовясь пропеть дивную песню. Он молился Аллаху.

Следующий день был так же великолепен, как и предыдущий. Толпы народа с раннего утра устремились ко дворцу, и их едва сдерживала вооруженная стража. Фараильда, как и вчера, сидела на троне, и перед ней стояли немногие певцы, готовясь начать состязание. Оно началось. Наконец, спел последний и, как он сам думал, лучший.

Но царица молча встала, холодная, как и вчера, легким наклоном головы поблагодарила певцов и уже пошла было к золоченым воротам, как произошло нечто неожиданное: когда последний певец кончал свою песню, Али приблизился к царице и упал на колени, когда она шла к воротам, с просьбою прослушать и его песню.

Фараильда остановилась и выразила свое согласие легким и величественным наклоном головы, а на губах ее появилась и пропала ироническая улыбка.

Не вставая с колен, Али провел рукой по мандолине, и нежные серебряные звуки аккордом пронеслись в воздухе. Он запел. Как будто могучая сила подняла его с земли, и он купался высоко в солнечных лучах, стремясь все выше и выше, к прекрасной как солнце Фараильде.

Он пел о том, что утренний ласкающий ветерок принес ему сегодня весть о ней вместе с дыханием роз, но он был душист не потому, что обвеял розовые кусты, а потому, что коснулся ее прекрасного лица. И соловей, сидевший в розовом кусту, понял это, и серебристой трелью рассыпался хвалебным гимном Фараильде. А ветерок разогнал в это время ночной туман, солнце выплыло на небо и радостно заиграло лучами, приветствуя красавицу. И на земле повсюду стало радостно, везде воцарилась красота, любовь и счастье...

Он кончил. Все молчали, восхищенные его пением. Румянец смущения лежал на лице царицы, и глаза ее мерцали лаской на Али. Она, видимо, была тронута, и Али видел, что он победил. Крик восторга вырвался из тысячи уст и, когда снова воцарилось молчание, царица со словами

благодарности коснулась своей белой рукой его горячего лба. Он хотел поцеловать край ее платья, но она дала поцеловать ему свою руку, подняла его и увела с собой во дворец.

Остальные певцы были забыты. Али овладел Фараильдой. Ее гордость была сломлена могучей чарующей силой его пения.

## IX

Совсем другой сделалась Фараильда, когда она осталась одна с Али и переделалась в домашнее индийское платье в своей опочивальне. На террасе это была гордая и холодная царица — здесь была любящая женщина, отдававшаяся любимому человеку. Она открыла окно в сад, и в него волной хлынул кружащий голову аромат роз и лилий. Солнечные лучи врывались в него и обливали Фараильду, которая точно купалась в их горячем золоте. Как очарованный стоял перед ней Али. Он тихо опустился перед ней на колени и точно в молитве, простирая вверх руки, обнял одной рукой ее за талию. Кокетливо смеясь, смотрела она на него, наклонив голову и грациозно подняв над ней руки.

— Моя возлюбленная! — прошептал Али, поднявшись с колен и прижимая ее к своей груди.

Так началась их любовь.

Али стал супругом Фараильды. Жизнь его потекла среди наслаждений, и время быстро уходило. Каждый день был какой-нибудь праздник. Если он чувствовал себя пересыщенным или усталым, Фараильда придумывала все новые и новые удовольствия и заставляла его забывать в этом вихре, что он мужчина. Не теряй минуты без наслаждения — вот что было ее правилом. Ей незнакома была усталость, точно она была стальная. Али она любила; он был молод, красив и вполне подчинялся ее воле. Она играла им, как кошка с мышью. Ее горячие руки были цепью, приковывавшей к ней Али. Ей стоило только взглянуть на него своими чудными глазами, чтобы он, как школьник, очутился у ее ног, покорный ей, как раб.

Так проходили недели и месяцы. Но, среди чувственных удовольствий, среди шума пиров и желаний разгоряченной фантазии, все более и более охватывали его скука и неудовольствие, какая-то неудовлетворенность. И снова перед ним, как в тумане, встал дорогой образ Зюлейки. Фараильда, знавшая его юношескую любовь с его же слов,

успокаивала его, как больного ребенка, глядя его рукой по лбу и волосам и произнося ласковые слова. Но иногда она приходила от этого в раздражение и в гнев говорила Али, что он должен любить только одну ее, так как она его выбрала. Тогда глаза ее горели как звезды, и она, казалось, едва сдерживала свою ярость. Уже по этому Али мог убедиться, какое у нее злое сердце.

Своих рабов и рабынь она часто приказывала нещадно бичевать, а подписывать смертные приговоры доставляло ей удовольствие, и она свободно раздавала их с чисто восточным деспотизмом. Голова, которая ей почему-нибудь не нравилась, без всякого промедления отсекалась. Иногда она сама надевала петлю на шею осужденного и при этом так невинно и мило улыбалась, точно совершала самое обыкновенное дело, точно была райским ангелом.

Однажды она приказала бросить в ров ко львам совсем юную девушку, которая поцеловала Али, и сама смотрела, как дикие звери растерзали несчастную. Когда Али упрекал ее в этом, она зажимала ему рот рукой. И позднее она ему сказала, что уже давно не устраивала состязаний в пении и что она намерена вновь созвать на это состязание рыцарей и князей. Это раздражило, наконец, Али, но она успокоила его своими ласками.

Все несчастливее и несчастливее чувствовал себя Али; он грустил о мирной жизни под родительской кровлей и о чистой любви, которой наполняла его душу Зюлейка. Часто приходил он к решению порвать все с Фараильдой и бежать из ее страны, но он был слаб это выполнить. Его мужество было утрачено, лоб почти всегда нахмурен, он почти одряхлел. То он раздражался против Фараильды, то, как раб, лежал перед ней, позволяя ей ставить ногу на его шею.

— Ты капризный, упрямый мальчик, — говорила она, любовно ему улыбаясь, — но вместе с тем добрый, очаровательный гоноша. Оставайся таким, каким ты есть, потому что именно таким ты мне и нравишься.

Он слушал ее, но тщетно обращался к ней со своей мольбой: «Будь добра и справедлива».

И он окончательно убеждался, что в этой женщине нет



сердца.

В таком состоянии он все более и более прибегал к курению гашиша. Лежа на шелковых подушках, он курил ча-сами и, втягивая в себя одуряющий дым, находил успокоение своего духа. Он сознавал, что гибнет, но был уже не в состоянии себя спасти. Видения и сны, навеваемые гашишем, одурманивали его и парализовали его сознание и волю.

Гашиш, гашиш, гашиш!

О, как права была волшебница Мара — гашиш кушанье богов»

Фараильда, между тем, устраивала пиры за пирами; особенно великолепен был один, походивший скорее на оргию. Пирующие покоились на устланных розами ложах, вино струилось в чаши, обнаженные баядерки исполняли восточные танцы и прислуживали гостям. Но Али нравилось более забвение, даваемое курением гашиша.

Однажды, когда он лежал, охваченный грезами, но не выпуская из рук кальяна, ему вдруг послышался голос:

— Сбрось с себя равнодушное бездействие, — говорил он, — очнись, будь мужчиной; собери всю свою силу и свою волю, беги отсюда: эти удовольствия, эта жизнь здесь — медленный яд, который скоро совсем тебя отравит! Действуй — и ты получишь удовлетворение сердца!

И Али казалось, что он слышит голос Зюлейки.

Он оттолкнул от себя кальян и решил также оттолкнуть и Фараильду. Но на другой день он снова был в ее власти, и ее чудные губки снова шептали ему о наслаждении. Он стремился к одному и желал другого, а потому не мог ничего достигнуть. Он сознавал ужас своего положения, но его останавливал первый встречный камень на его пути. У него не было мужества порвать со своей жизнью, хотя он сознавал, что она для него губельна, не мог положить ей конец. Так жил он в ссоре со всем миром, с придавленным духом и с тоской в сердце.

С Фараильдой теперь у него происходили беспрестанные ссоры; часто она упрекала его и говорила, что он может идти, куда ему угодно, если ему у нее не нравится. С

злорадной усмешкой она говорила ему, что он только игрушка в ее руках, которую она может разломать и бросить, когда ей это вздумается. И в ее глазах вспыхивали гнев и ненависть. Она кричала ему, что он может уходить, и чем скорее, тем лучше, но едва он делал первый шаг к этому, как она снова становилась любящей и преданной женщиной. И Али опять оставался. Она не любила его, но не могла без него обойтись.

К различию между их характерами присоединялась еще разница в религиях, которая обнаруживалась и в населении столицы. Христиане ходили в церковь, евреи в синагогу, магометане в мечеть, буддисты в пагоды, и приверженцы всех этих религий враждебно относились друг к другу. Али исповедовал ислам, Фараильда была последовательницей Будды. Он не был фанатиком, позволял даже себе отступления от Корана, пил вино, но свято следовал обычаям отцов и требованиям религии, чему научился еще в детстве. Он соблюдал посты, ходил в мечеть и совершал омовения.

Все это возбуждало насмешки Фараильды. С брезгливой гримасой говорила она ему в глаза, что презирает магометанскую религию и гордится, что она — буддистка. Но сама она не исполняла учения Будды, бывшего в древности сыном одного из индийских царей.

Али, однако, успел познакомиться с его учением. Он увидел, что заповеди Будды и его учение проникнуты любовью к людям, и убедился, что Фараильда совсем не следует ему, подчиняясь только своей страстной, необузданной натуре. Она не знала настоящей любви и тем менее могла понять возвышенную суть его учения, его истин. Она к этому была неспособна. Она жила только чувством, ей были нужны только наслаждения, цветы. Она была сосуд без содержимого и выполняла обряды только формально.

Ее насмешки выводили из себя Али, так что он бросался иногда на нее с кулаками; но она только смеялась над ним и вмиг обезоруживала его своими улыбками. Его роль была страдающая — ее торжествующая. С головной болью и оцепевшими чувствами, ходил он вокруг, ища выхода. Он сознавал, что для нее он только пешка на шахматной

доске, и все более и более искал забвения в курении гашиша.

Конеч, во что бы то ни стало, какой угодно ценой, но конеч!

Он позвал Юсуфа, в могущество которого он прежде верил, и открыл ему свое сердце.

— Как прекрасно было то время, — сказал он, — когда я жил в доме моего отца, спокойный и счастливый! Я охотился и не искал ничего лучшего. Позднее, когда я узнал и полюбил Зюлейку, счастливее меня не было человека. Но вот стряслось несчастье, лишило меня всего и пригнуло меня к земле. Ты явился ко мне тогда незванный и непрощенный и в высокопарных словах предложил мне твою помощь. Но ты не сделал мне ничего хорошего. Ты сделал из меня слабовольного человека и лишил меня моей юношеской силы.

Холодным и твердым голосом ответил ему Юсуф, и его пепельные глаза точно проникали Али.

— Неблагодарный! Разве ты не возвысился с моей помощью? Ты стал князем, обладателем красивейших женщин. Чего нужно тебе более твоего королевского могущества?

К чему послужило тебе все это? Ты сам виноват во всем!

Зачем ты последовал советам Мары, моей дочери? Может быть, полезнее для тебя было бы послушаться умной Суры?

— Обольститель! И ты это говоришь? Я доверился тебе во всем, я ничего не знал, и поэтому я не чувствую за собой никакой вины. Зачем отдал ты меня Маре и допустил меня, неопытного, поддаться ее чарующим словам и обольщениям? Если Сура лучшая, почему не послал ты ее ко мне одну? Почему слова ее были менее убедительными? Прочь от меня! Ты дьявол, и твоя Мара — ведьма! Она меня погубила! Она дала мне яд с гашишем. Благодаря ему пропала моя сила и ослабел мой дух. В губительном ничегонеделании, в завлекательных удовольствиях я погиб и едва не дошел до смерти.

— Не жалуйся, это тебе не принесет пользы! Исполни то, что тебе предназначено. Ты не более как листок, гони-

мый по воле ветра, — твоей судьбы.

— Ты вновь хочешь обольстить меня, проклятый? Помоги мне лучше вернуть себе Зюлейку! Слышишь, Зюлейка должна ко мне вернуться! Только она принесет мне радость!

— Это случится в свое время. Почему не последовал ты за нею и ее похитителем в ту же ночь? Но таковы все высокие господа. Вместо того, чтобы рассчитывать только на себя и на свои силы, вы обращаетесь к нашей помощи и вините только нас, если что-нибудь выходит не по вашему желанию. Но, Али, ты болен, и я не хочу с тобой спорить. Так как ты стремишься к кипучей и благородной деятельности, то я могу тебя на нее направить. Ты знаешь, что севернее, в Индостане, замужем за царем сестра твоей супруги Фараильды, Майя. По красоте своей она не уступает своей сестре, но моложе ее. Майя переживает теперь очень тяжелое время, так как ее по пятам преследует Мобед, первый министр царя, влюбившийся в свою царицу. Когда она остается одна в своей женской половине, он уже за ней. Она отталкивает его — он хватается за руку. В письмах к Фараильде Майя горько жалуется на свою судьбу и просит у сестры защиты. Король стар и слаб, он почти впал в детство, и жена его не может иметь от него никакой защиты. Всю свою власть он передал Мобеду, который превзошел своим правлением всех тиранов. Народ готов восстать против него, так тяжело его правление. При нем ничья жизнь и имущество не в безопасности. Поговаривают, что он способен покуситься даже на жизнь своего повелителя. Али, водвори порядок в стране и спаси Майю из когтей Мобеда! Это будет дело, вполне тебя достойное.

Али с удовольствием выслушал его и почувствовал в себе пламя. Печальная судьба Майи тронула его и не давала ему покоя. Он решил отправиться для ее освобождения и как можно скорее уехать из дворца Фараильды. Царица охотно его отпустила; она, конечно, сочувствовала его желанию помочь ее сестре и даже рада была отъезду своего сумрачного супруга, так как обратила свое благосклонное внимание на одного вольноотпущенного раба.

## Х

Необходимые приготовления быстро были закончены и Али, вооруженный с головы до ног и в сопровождении небольшого отряда, тронулся в Индостан. Мысли о Майе закаляли его для будущего, и он чувствовал себя бодрым, хотя не давал себе почти отдыха, проезжая верхом на коне через горы и долины.

На границе Индостана услышал он дурные вести. Старый царь умер. По рассказам встречных пастухов, Мобед отравил его. Его вдова должна была по обычаю страны последовать за мужем и быть вместе с его телом сожженной на костре. Это была месть министра, который потерпел неудачу в своих ухаживаньях. Али понесся как буря, стремясь скорее достигнуть столицы и предупредить несчастье. Везде проклинали Мобеда, говорили о царе, который управлял страной милосердно, пока не попал под влияние своего первого министра, и всем сердцем жалел бедную Майю, которая должна была погибнуть на костре в расцвете красоты и молодости.

Смятение овладело всей страной; порядок был нарушен, закон и право попорчены ногами. Приспешники Мобеда поджигали местечки и селения, палачи со своими помощниками ставили всюду виселицы. Спокойствие хотели водворить ценой уничтожения и смерти. Король не оставил после себя потомства, и его прямой наследник был в плену.

Все это вызывало в Али настойчивость во что бы то ни стало освободить царицу, хотя бы для этого пришлось выйти против всего света. Он горел нетерпением достигнуть своей цели. Мускулы его опять превратились в железо. Он был похож на воинствующего бога, когда, наконец, окруженный своими товарищами, с обнаженным мечом и сверкающими как молния глазами достиг ворот столицы. Этот бог явился произвести суд и расправу и привлечь народ на свою сторону.

Али явился как раз в самое время; несколько минут позднее — и Майя была бы пеплом.

На огромной главной площади столицы в глубоком безмолвии стояла толпа. Временами поднимался глухой ропот, подобный отдаленным громовым раскатам. Для открытого восстания были слишком слабы и запуганы.

Посредине, на открытой месте, являлось мрачное зрелище. На огромной, сложенном из дров помосте, в великолепной постели в виде ладьи с отвратительным, вырезанным из дерева идолом на носу, покоилось в великолепном одеянии тело умершего царя. Богатейший покров ниспадал с ладьи на дрова и производил резкий контраст с печальной картиной своими яркими красками. Но ничего величественного не было в восковом лице усопшего. Все оружие мертвого царя было собрано тут же: щиты, копья, мечи и луки с великолепными украшениями, рога для охоты и для пиров, дальше кубки, тарелки, чаши, серебро и золото, кольца, цепи и различные украшения, осыпанные бриллиантами, опалами, сапфирами, рубинами и изумрудами, в которых сверкали искры. Груды сокровищ были собраны на этом костре и предназначены в жертву пламени, хотя с помощью их можно было накормить голодных со всего света. Внизу, у подножья ладьи, лежал убитый конь усопшего, который должен был сгореть вместе со своим хозяином, чтобы служить ему и на том свете. Сбоку тела возвышался мрачный металлический сосуд, из которого красным языком показывалось жертвенное пламя и валил черный густой дым. Но вместе с конем находилась здесь и другая жертва, прекраснее и страшнее остальных, — Майя, жена умершего царя. Все, что служило покойному при жизни, должно было служить ему и по смерти: оружие, с которым выезжал он на битву с врагами, платья, который он носил, чаши, из которых он пил, тарелки и блюда, с которых он ел, конь, на котором ездил; ту же участь должна была разделить с ним и его жена.

Али явился внезапно и ринулся вперед, мечом прокладывая себе дорогу. На одно мгновение остановила его открывавшаяся перед ним мрачная картина смерти, но только на одно мгновение. Он сейчас же увидел женщину в диадеме и других украшениях, убранную, как на свадьбу. Она

смотрела на него обезумевшими от ужаса глазами, на лбу выступил холодный пот, и дыхание было прерывисто. Как тигр, одним прыжком достиг ее Али, мечом рассек веревки, опутавшие ее тело, обхватил Майю левой рукой, а правой стал поражать мечом стоявшую подле Майи стражу. Почти одним взмахом меча были убиты трое — остальные разбежались. Радостный крик всколыхнул толпу и был похож на шум взволновавшегося моря; и в этом радостном крике, в этом приветствии чужестранцу, явившемуся как раз вовремя, вылилась накопившаяся годами ненависть к Мобеду. Как ребенка взял Али бесчувственную Майю и понес к своему коню, которого держал его слуга. Быстро вскочил он в седло, не выпуская из рук своей дорогой ноши. Али чувствовал необыкновенный подъем духа; сила его усотворилась; он мог бы теперь вызвать на поединок весь мир; глаза его горели, зубы были стиснуты — он жаждал крови врагов Майи. Мобед бросился к нему с обнаженным мечом и, пораженный его видом, остановился; но в это мгновение меч Али сверкнул в воздухе и поразил насмерть тирана.

Радость народа не знала границ. Крики в честь Али сотрясали воздух; народ теснился вокруг него, как вокруг непобедимого полководца; целовали его платье и ноги, растилали перед ним свои одежды; огромным шумящим потоком валила толпа за ним по улицам, провожая его к царскому дворцу.

Али двигался среди этого людского потока, чувствуя в груди неизъяснимую радость. Давно не испытывал он ничего подобного. Он верил, что над ним взошла новая звезда его жизни.

Правой рукой сжимал он рукоять меча, по которому еще струилась кровь, левой прижимал к своей груди бесчувственную Майю. Он имел теперь достаточно времени рассмотреть ее и очароваться ее красотой. Она была похожа на свою сестру Фараильду, но миловиднее ее и была гораздо моложе. Она походила скорее на девушку, чем на женщину. Ее белокурые волосы спадали легкими волнами на ее плечи и обнаженную грудь. Любовным взглядом смотрел на нее Али. Он чувствовал ее дыхание и теплоту ее те-

ла и готов был отдать за нее свою жизнь. Он едва удерживался от желания ее поцеловать; он не хотел похищать у нее поцелуй тайно: она сама должна была поцеловать его по доброй воле. Но ее чудные глаза не узнавали еще его, лицо ее было бледно. Она похожа была на сказочную принцессу, усыпленную в юности волшебными чарами, и Али гордился, что он тот принц, который освободил ее и вернул к жизни.

Мало-помалу Майя пришла в себя и узнала своего спасителя; невыразимая признательность сверкнула в ее глазах, наполнившихся слезами. Она была не в состоянии произнести ни слова, но по выражению ее лица было видно, что она чувствует. Она взяла его руку и поцеловала ее. Теперь Али не мог уже сдержаться: он наклонился к ее головке и припал губами к ее губам, почувствовав, что она ему отвечает.

Народ, не умолкая, провожал его и бросался перед ним в пыль дороги. Наконец, он достиг дворца и внес в него юную царицу. Ужасная судьба, которой она только что избегла, возбуждала еще в ней волнение и ужас. Она бросилась на свою женскую половину и упала в постель, смеясь и плача в одно и то же время.

Али сел подле нее и успокаивал ее сердечными словами.

— Ты явился ко мне как ангел с неба, мой Али, — произнесла она растроганным голосом, — без тебя моя несчастная жизнь окончилась бы ужасной смертью.

И она рассказала ему свою историю.

Едва выйдя из детства, она против ее воли была выдана замуж за старого царя. Он был добр с нею, но она готова была его считать своим отцом скорее, чем мужем. Ее жизнь текла без радости. Царь между тем совсем состарился, впал в детство и совершенно подпал под влияние своего первого министра, Мобеда. Он притеснял народ, грабил его, и никто не мог найти от него защиты. Своими назойливыми ухаживаниями он доставил много огорчений Майе. У своего супруга-царя она не могла найти никакой защиты от Мобеда. С гордой твердостью отвергла она все предложения



негодая, и он, чтобы отомстить ей, отравил царя и, пользуясь обычаем, хотел сжечь на костре его вдову,

— Но я не хотела умирать! — воскликнула Майя, — я молодая, моя жизнь была так несчастна, что я завидовала самой последней женщине из народа. Я хотела жить и жить! И ты вернул меня к жизни, ты освободил меня от Мобеда; чем я могу отблагодарить тебя? Все, что я имею — недостойно тебя. Возьми меня саму; я принадлежу тебе телом и душой!

Тогда Али склонился к ней, прильнув к ее пурпуровым губкам, и могучая любовь охватила его душу.

— О, я хотел бы выпить в этом поцелуе твою душу, — проговорил он, — и вечно наслаждаться твоей красотой...

Али ясно видел разницу между Майей и ее сестрой Фараильдой. Майя была искренна, правдива и добра; какое бы счастье могла она ему дать! Но судьба его желала другого: он был супругом Фараильды и должен был к ней отнестись.

Он ощущал также в себе дух деятельности, жажду подвигов и не хотел подвергнуться снова опасности прежней бездеятельной жизни. Как рыцарь и герой, хотел он странствовать по свету с мечом в руках, защищая правду и угнетенных.

Тем временем нашелся наследник умершему царю, Зораб, умный человек с благородным сердцем, который мог восстановить в стране спокойствие и порядок. Он давно питал глубокую привязанность к Майе и просил ее руки. Она согласилась, так как любила его, а к Али чувствовала только горячую признательность, и Али должен был это видеть.

## XI

Али и Майя после короткого, но полного счастья должны были, наконец, проститься. Новое приключение предстояло Али; он услышал, что на границе Китая существует идол, которому ежегодно приносят в жертву прекраснейшую девушку, и что время этого жертвоприношения уже близко.

Немедленно приказал он подать себе коня и отправился в путешествие. Быстро миновал он чужие земли и скоро достиг своей цели. Так как его по его свите приняли за князя, то его свободно пропустили в капище, где был идол. Он был огромных размеров и находился в мраморной зале, украшенной колоннами. Вид его был отвратителен: волосы и борода были скручены жгутами, нос плоский, глаза полусонные и сластолюбивые, рот раскрыт плотоядной гримасой, точно изображая человеческую ненасытность. От его головы шли во все стороны широкие золотые лучи вроде мечей. На цепи подле него ходил свирепый огромный тигр, который на другой день должен был растерзать в коленях идола обреченную девушку.

На другой день Али явился в капище перед назначенным часом. Перед входом рыдали и ломали в отчаянии руки родные и друзья молодой девушки, которая называлась Астой. Али спокойно прошел среди них, сжимая рукой рукоять своего тяжелого меча. Полуобнаженная Аста, помертвевшая от ужаса, стояла в коленках истукана, привязанная к ним руками. Али показалось, что в ее обезумевших от ужаса глазах мелькнула надежда, когда она взглянула на него, что она чувствует в нем своего спасителя. Из золотых курильниц синими струйками дымились восточные ароматы, жрецы бормотали молитвы, отвратительный идол улыбался страшной гримасой, и огромный тигр лязгал своей цепью и рычал, скаля зубы. Его нарочно не кормили несколько дней, и теперь он, чуя теплую человеческую кровь, шурил на бедную жертву свои хищные, круглые зрачки.

А огромный идол сидел и, казалось, наслаждался.



Настала жуткая тишина, среди которой резко лязгнула цепь. Тигра освободили. Аста испустила безумный крик ужаса. Зверь приготовился к прыжку. Но в мгновение ока выхватил Али свой меч, ринулся к животному и разрубил ему голову. Охваченные ужасом, жрецы обратились в бегство.

Али мечом разрубил веревки и на руках вынес Асту из храма.

Еще не оправившаяся от пережитого ужаса, но уже охваченная благодарностью, соскользнула она с его рук, упала перед ним на колени и поцеловала его ногу. Потом она поднялась, вся смущенная, закрывая руками свою обнаженную грудь.

Она была почти дитя и своими чертами и девичьей чистотой напоминала ему Зюлейку. Это, впрочем, было не удивительно, потому что Аста была самая красивая во всей стране. Али привлек к себе ее головку и поцеловал ее в лоб, а она поцеловала его руку.

— Любишь ли ты меня, девушка? — тихо спросил Али.

Она глубоко вздохнула.

— О, господин, — прошептала она робко. — Ты явился, исполненный мощи, по велению неба и спас меня от когтей тигра; я бедна, у меня ничего нет, но моя жизнь принадлежит тебе. Господин, не отталкивай меня, возьми меня с собой; я буду служить тебе и буду исполнять твою волю. Возьми меня как рабыню, но только не отвергай меня, позволь мне за тобой следовать!

— Так идем же, девушка, — ласково улыбаясь, сказал Али.

Он отошел с ней от капища, предоставив разрушение идола своим спутникам. Он посадил ее перед собой в седло и повез в город, где она жила. Он остановился в ее доме, позволил ей омыть свои ноги и умастить голову благовонными мазями. А она радовалась тому, что ему служит.

Для Али потянулись мирные дни наслаждений любовью к Асте. Но его душа была беспокойна; он не хотел оставаться долго в том месте; прежнее чувство к Зюлейке воскресло в его груди. Часто произносил он ее имя, часто

задавал себе вопрос, жива ли она теперь? помнит ли о нем? Ее образ появлялся перед ним во сне, а когда перед ним сидела Аста, старавшаяся предупредить малейшее его желание, она казалась ему младшей сестрой Зюлейки.

Тогда его глаза с грустью устремлялись на молодую девушку, и он нежно гладил ее рукой по голове, а она сидела, испытывая невыразимое блаженство.

Она чистила его оружие и целовала меч, которым он убил тигра. Али казался ей недосыгаемой звездой, и она, если бы могла, воспела бы свое чувство к нему в звучной песне. Выше всего на свете считала она исполнять его желания или слушать его голос.

Али видел ее любовь и сочувствовал девушке, но в нем не было к ней настоящего чувства, как к Зюлейке.

Однажды он приказал готовиться к отъезду. Аста была смертельно поражена. Разве она может жить вдали от него, не видя его? Если он хочет бросить ее, зачем он тогда освободил ее? Ей легче было бы погибнуть в капище, в когтях разъяренного тигра. Она знала, что решение его непоколебимо, что он уедет, но ведь он мог взять ее с собой.

В отчаянии бросилась она перед ним на колени.

— Господин, возьми меня с собой, как твою служанку, — умоляла она, — позволь мне следовать за тобой вместе с твоими слугами и, если я надоем тебе, умертви меня! Я могу умереть от тебя и за тебя, но жить без тебя не могу!

Ее глаза с мольбой смотрели на него; из них по ее милому лицу струились слезы.

Ее преданность тронула Али; усмехнувшись, он сказал, что берет ее с собой. Ее охватила безумная радость: она пела, как птичка навстречу солнцу, танцевала, когда ее никто не видел, и щебетала без умолку. У нее точно выросли крылья. Но, когда к ней обращался Али, она становилась смущенной и отвечала ему застенчиво.

Но она чувствовала себя счастливой, как ни одна принцесса на свете.

Али уехал, взяв ее с собой; она находилась при нем безотлучно. Он ехал без радости в душе, направляясь ко двору своей супруги Фараильды, который уже давно был им

покинут. Он не торопился, проводя время в охоте и посещениях дворцов некоторых князей. Он хотел забыться, найти удовлетворение, но ничто не давало ему покоя. Воспоминания не оставляли его. Он проклинал Юсуфа, которого называл дьяволом своей жизни, и с наслаждением растоптал бы его своими ногами. Но Юсуф остался при дворе царицы Фараильды.

В своем дурном расположении духа Али был жесток, с Астой груб. Но она была счастлива, если он позволял ей развязать ремень его обуви. Она горевала только о том, что он грустен и она не может его развеселить.

Однажды, когда Али охотился, он встретился с караваном странствующих купцов. Он вступил с ними в разговор и узнал от них, что в Европе, южнее Дуная, живет магометанская властительница, у которой христиане отняли царство, убив ее супруга. Ей остался только конь и лук со стрелами. Она живет охотой, питая ею себя и своего сына-ребенка.

Али с интересом выслушал рассказ купцов; это было как раз для него. Здесь он мог помочь, быть полезным. И вдруг эта бедная женщина — Зюлейка? Воспоминание о ней никогда его не покидало. Он поблагодарил купцов, пожелав им счастливого путешествия, и они отправились дальше со своими верблюдами.

Однако их рассказ не давал ему покоя, и он решил отправиться в Дунайскую долину.

## XII

Необходимо было собрать войско, чтобы отвоевать обратно страну низведенной царицы и утвердить ее на троне. Этот план вдохнул в Али новую энергию. Он казался помолодевшим. Выражение его лица прояснилось, глаза вновь заблестели, дух окреп. Он стремился теперь сделаться самоотверженным героем, как некогда советовала ему Сура, вторая дочь Юсуфа. Он хотел доказать, что яд гашиша не окончательно отравил его кровь, что изнеженность не погубила его еще. Он хотел наполнить мир славой своего имени, своей мощью сокрушить неприятельскую армию и торжествующим победителем войти в завоеванную землю. Он хотел господствовать в ней, как могущественный султан, искусно, мужественно и справедливо, заботясь, как отец, о подданных, грозным для врагов. И тогда слава о нем долетит до Зюлейки, она вернется к нему и будет его единственной супругой, его царицей на всю жизнь.

Гордый дух проснулся в его сердце, и даже в его молитвах в Аллаху проглядывали его розовые надежды. Он кликнул клич по всей земле, щедрой рукой раздавая золото и призывая под свои знамена молодых, кипящих отвагой воинов.

— На войну против христиан! Пусть высоко стоит полумесяц! — это был лозунг, вырывавшийся из тысячи грудей. Везде, где появлялся Али, его встречали с торжеством, как героя, которому уже принадлежал весь мир.

Вскоре он был могучим полководцем. В рядах своих воинов он строго поддерживал порядок и дисциплину и знал, что все они до последнего человека ему преданы.

Асте он позволил следовать за собой в рядах своих воинов, и она ежедневно благодарила за это небо. Она была уверена, что Али победителем достигнет своей цели. Она уже видела его могущественным султаном на золотом троне, а себя смиренно сидящей у его ног.

В своей кипучей деятельности Али посвящал ей слишком мало времени, и вот однажды их любовь окончилась

трогательной развязкой. Али лежал в своем шатре, как вдруг заметил, что вокруг его ноги обвилась ядовитая змея. Он окаменел от страха и, опомнившись, сделал ногой движение, чтобы стряхнуть гадину. Шипя, змея высунула свое жало и вонзила свои ядовитые зубы в ногу Али. Али закричал о помощи, но все окружающие потеряли головы, бестолково мечась туда и сюда.

— Властитель умирает, властитель умирает! Яд вошел в него! — кричали тревожно воины, и эти крики донеслись до Асты. Как стрела бросилась она к шатру Али, расталкивая толпу, и упала перед его ложем. Лицо Али почернело, голова откинулась назад, черные круги появились под глазами; казалось, что смерть уже наступала. Но Аста припала губами к его ранке и высосала яд. Ее господин был спасен.

Но сама она погибла. В своем самоотверженном порыве она не приняла необходимой предосторожности и проглотила яд, который вошел в ее кровь и пресек ее молодую жизнь. Но что ей было до этого!

— Счастлив мой жребий, потому что я умираю за своего возлюбленного! — были ее последние слова.

Она склонилась головкой к его ногам, как делала это часто при жизни, и умерла.

Али рыдал.

— Вот любовь, — сказал он, — которая напомнила мне Зюлейку и какой, кроме нее, не в состоянии любить ни одна женщина. Горе мне, что я не по достоинству оценил эту любовь!

Он поцеловал Асту и закрыл ей глаза. Ее хоронили с военными почестями, под звуки труб, и знамена склонялись на ее могилу.

После этого он двинулся далее.

Прежде всего решил он отправиться ко двору царицы Фараильды, чтобы проститься с ней и привлечь на свою сторону тамошних магометан. Слава его шла перед ним предвестником. На всех перекрестках говорили о предстоящей войне между востоком и западом, сожалели о судьбе сверженной царицы, имя которой было Зинана.



Али быстро шел вперед, Он горел от нетерпения скорее переправиться в Европу; это нетерпение несло его как корабль на всех парусах. Скоро он достиг столицы Фараильды и вступил в ее дворец. Фараильда была в зале и восседала на очень странной живой скамейке. Этой скамейкой была одна из ее рабынь, стоявшая ничком на коленях. Фараильда была одета в шелк и золото; богато одетые приближенные толпились вокруг нее. Когда Али вошел, Фараильда величественно кивнула ему и протянула для поцелуя руку.

— Мой уважаемый супруг не находит ничего лучшего, как взяться за меч, — сказала она с легкой иронией. — Он хочет приобрести царство и в придачу к нему царицу.

И она прибавила тоном насмешки:

— Он не только великий певец, увлекающий силой своего пения женские сердца, он герой, который может покорять себе царства. Он настоящий рыцарь: он поет в честь женщин и защищает их. Итак, вперед с помощью Аллаха! так, кажется, называется твой Бог? Вперед — для прекрасной царицы Зинаны! Счастливого пути!

Она поднялась со спины своей рабыни и, шурша шелком, величественно вышла. Али, давно отчужденный от своей супруги, оставался в ее столице ровно столько, сколько это было нужно. Он отправился вместе с Юсуфом, который вызвался его сопровождать.

— Там, где сражаются, я не лишний, — сказал он, — и без меня там нельзя обойтись. Мое место там, где нужда и смерть ищут своих жертв. Какое веселье смотреть, как молнии сверкают из пушек, как крутятся и разят ядра, как тают неприятельские ряды, как падают крепкие мужчины, точно осенние мухи, как голод и мор начинают среди людей свою страшную жертву! Хочешь, я буду твоим полководцем? Если я возьмусь за оружие, смерть врагов будет неизбежна.

С негодованием слушал Али эти речи.

— Не из жажды крови начинаю я войну! — воскликнул он. — Не голод и чуму несу я к своим противникам. Благородной мужской силой хочу я сломить неприятеля и по-

бедой восстановить справедливость!

— Называй как хочешь, война останется войной, — возразил, усмехаясь, Юсуф. — Каждый властитель, начиная войну, говорит благородные, высокие речи, но настоящая подкладка всегда одна и та же: тщеславие и корыстолюбие. Для меня это безразлично. Но, чем кровавее война — тем веселее. Когда горы трупов растут, когда здесь падает враг, там друг, дальше брат — вот это зрелище, которое мне по сердцу. Вперед же, Али, и да здравствует война!

— Ты дьявол в человеческом образе, — воскликнул Али, — клянусь бородой пророка! Ты проклятый из проклятых! Я должен был бы размозжить тебе голову, как ядовитой змее? Да будут прокляты тысячу раз все соблазнитель! Ты один из них; итак, да будь же ты проклят!

Охваченный пламенным гневом, поднял он кверху свои кулаки. Юсуф попятился немного и проговорил, язвительно улыбаясь:

— Все-таки ты позволишь мне следовать за тобой; у меня хорошая голова, и я могу давать тебе полезные военные советы.

— Этого тебе не удастся, — ответил Али с негодованием. — Твои советы для меня окончились. Но в моем войске можешь ты за мной следовать.

Сказав это, он вышел.

Юсуф пробормотал ему вслед:

— Делай как знаешь, гордый господчик; в конце концов, ты все-таки мне принадлежишь!

Сделав необходимые запасы, Али со своими войсками оставил город. Он перешел границу Индии, вступил в Аравию, прибыл в Мекку, где родился пророк, и в Медину, куда к его гробу стекаются многочисленные пилигримы. Среди них Али приобрел многих приверженцев. Потом он достиг морского берега и сел на корабли. На всех парусах понеслись корабли к северу и пристали к оттоманскому берегу. Быстро, точно буря, понесся он вперед, с криками в честь Аллаха. Он стремился к сражению. Быстрее, чем он думал, достиг он Дунайской долины.

Однажды, когда день клонился к вечеру, увидел он молодую полуодетую женщину, освещенную лучами заходящего солнца. Она сидела по-мужски на прекрасном скакуне с луком в одной руке, а за ее спиной сидел ребенок. Подняв вверх свободную руку, она ловила пораженного ее стрелой дикого голубя, который, со стрелой в груди, медленно опускался, в предсмертных судорогах еще трепеща крыльями.

Это зрелище пленило Али. Ему казалось, что пред ним амазонка. И внезапно ему пришла в голову мысль:

— Не Зинана ли это?

Он подъехал к ней и спросил ее:

— Зинана?

— Это я, — ответила женщина.

— Зинана, сверженная царица! — воскликнул он. — А я — Али...

— Али! Герой, который идет меня спасти?

— Тот самый, — ответил он, — а там вдали, где поднимается пыль, идет мое войско. Я люблю иногда далеко уезжать вперед в этих степях, и потому я счастливо встретил тебя.

Но он испытывал в душе легкое разочарование, убедившись, что она не Зюлейка. Тем не менее, она была прекрасна. Несчастье не сломило ее. Гордо держала она голову, обожженная солнцем кожа лица придавала особый отпечаток ее красоте, ее мускулы свидетельствовали о силе и здоровье, а глаза смотрели тепло и задумчиво.

Гордо и вместе сердечно поблагодарила она Али. Потом они вместе направились к войску, которое приближалось к ним, как медленно плывущая по небу туча.

Для ночного отдыха были разбиты шатры. Отдельно от прочих был разбит шатер для царицы. С рабынями, которые были при войсковом обозе, Али прислал ей великолепные одеяния, драгоценные камни, ковры, амбру и розовое масло.

Когда Зинана сняла с себя охотничьи доспехи и облеклась в великолепное платье, она пригласила Али к себе. Она полулежала на мягком восточном ковре и просила Али

опуститься рядом с нею. Ее тело мягко облегалo светло-голубое шелковое платье, по которому, как звезды на небе, были рассыпаны бриллианты, на ее прекрасной головке была диадема с бриллиантами и рубинами. Но сильнее их блеска был блеск ее глаз, которые точно пламенем обдавали Али. Он смотрел на нее с восторгом. С естественной непринужденностью и грацией слегка подвинулась она, чтобы дать ему возле себя место, и принялась рассказывать ему свою жизнь.

Она говорила просто, и ее голос звенел как серебряный колокольчик. Когда она касалась печального прошлого, ее речь была кратка и сдержанна, но счастливые происшествия передавала она со всею полнотой, смеясь по-детски. При этом смеялись и ее прекрасные глаза, из которых точно брызгали лучи света.

Али любил такой смех и, очарованный, произнес:

— Зинана...

Но она продолжала свой рассказ. С женской простотой открыла она, что не была вполне счастлива в своем замужестве и что главное счастье дало ей материнство. С любовью говорила она о своем ребенке и горько жаловалась, что он осиротел и лишен родины и имущества.

— Поэтому, Али, благодарю тебя от всего сердца, — закончила она, — за твое намерение защитить его; Али, будь отцом моему бедному ребенку!

Слезы блеснули на ее глазах. Али понял и оценил ее сердце. Он взял ее руку и поцеловал ее.

— Зинана... Зинана...

Точно порыв соединил их друг с другом, и губы их слились в поцелуе. Новая любовь овладела Али и вдохновила в нем новое мужество...

Несколько дней спустя обе враждующие армии стояли уже друг против друга.

— Алла, Алла! — раздавались крики в рядах магометан, и эти крики походили на шум взбушевавшегося моря. От полководца до последнего солдата все готовы были отдать за Али свою жизнь. Конские хвосты развевались, знамена трепетали, в лучах солнца сверкали шлемы, латы, копья,

мечи и щиты. Али объезжал ряды своих воинов, которые стояли как стены, возбуждая их храбрость и мужество. Торжественная тишина воцарилась на поле битвы. Али обнажил голову и произнес молитву. В это время выглянуло солнце, и орел прошумел над головой Али своими крыльями.

После этого произошел первый удар. Неприятель стал стрелять первым, и скоро выстрелы нельзя было сосчитать. Массы войска сшиблись друг с другом, и от их тяжелого удара дрогнула земля. Барабаны били, трубы звучали, ревели пушки и трещала ружейная перестрелка. И среди этого гула раздавались крики: «Алла, Алла!». В диком порыве, войска стремились вперед, волнуясь, как море. Над головами воинов тучами вздымалась пыль и затемняла солнце. Кони ржали, грызли удила и бесились, воинственные крики оглушали ухо. Али находился в самом опасном пункте. Сидя на своем коне, с мечом в руке, он на голову выделялся из толпы и был похож на солнце, восходящее из-за гор. Он сразил уже многих закованных в латы рыцарей. Вблизи себя он увидел Юсуфа, страшно разящего. Сидя на черном коне, он как косой срезал мечом целые ряды. От его губительного меча неприятель обращался в беспорядочное бегство, а он гнался за ним, скаля зубы веселой и плотоядной гримасой, и сталь как молния сверкала в его руке. Он был страшен, как смерть.

Как мужественно и храбро ни оборонялся неприятель, он не мог выдержать могучего натиска дружин Али. Одно крыло его было окружено магометанами и взято в плен, другое обращено в бегство. Воины Али срезали своими острыми саблями, как репейник, головы неприятельских воинов, рассекали латы их рыцарей, пробивали выстрелами их железные шлемы. Где начиналось замешательство, Али моментально восстанавливал порядок. С изумлением взирали на него воины и слепо кидались на врага по его повелению. Вокруг него били в большой барабан, трубили в горны, звучали рожки, звенели цимбалы и литавры, как будто это была не битва, а праздник. Сражение продолжалось до ночи. Али остался победителем. Тысячи трупов устлали его

путь. Но страна не была еще завоевана и война еще не окончилась.

Шатер с королевским штандартом был воздвигнут для Али. Зинана, сверкая радостью и красотой, встретила его в нем; она обмыла легкую рану на его лбу и вытерла пот на его лице. Он пил и ел вместе с ней и, утомленный, заснул, склонившись головой на ее колени.

На другой день произошла вторая битва, которая дала неприятелю некоторое преимущество, а войскам Али некоторое неудобство; третья битва осталась нерешенная. Мужество магометан поколебалось.

Ночью, перед наступлением решительного дня, Али явился на главный пункт перед своими войсками и произнес им пламенную речь:

— Вперед, товарищи, на врагов полумесяца! Аллах вам защита! Будьте храбры и решительны. Война ведется за справедливость, веру и свободу! Это священная война! Кто падет в битве — будет в раю, прощенный от всех грехов. Кто останется жив — будет славен. Как только утро блеснет на небе — вынимайте ваши мечи, заряжайте ядрами пушки. Верьте, что я осыплю вас сокровищами и не забуду ни о ком! Итак, вперед! Алла, Алла!

— Аллах! — раздалось за ним. Начиналось сражение. Возгласы воинов потрясли воздух, и с пламенной отвагой ринулись они на врага. Точно горы столкнулись оба войска, и тяжел был их удар. Кровавое море разлилось по земле и сделало ее красной. В полдень Али видел, что его войска в порядке и знамена его развеваются. Победные крики неслись ему навстречу. Сталь клинков молниями сверкала в воздухе над головами сражающихся, пушки ревели, как дикие львы, и пороховой дым заволакивал небо. Неприятель обратился в дикое бегство.

— Короля мне, короля! — громовым голосом кричал Али.

Было уже после полудня. Воины Али уже начинали уставать, но он ободрял их вновь словом и примером. Его можно было видеть в самых опасных местах сражения, и он всех поражал своей смелостью. Тогда внезапно явился перед ним Юсуф с глазами, сверкавшими мрачным блес-

ком, и сказал, протягивая вперед руку:

— Король!

Али ринулся по его указанию, как лев. Король мчался, спасаясь бегством, окруженный несколькими рыцарями, и Али со своими приближенными преследовал его, крича:

— Остановись, убийца! Стой, похититель трона!

Он настиг короля, страшным ударом разбил его щит и выбил из седла на землю.

Приближенные Али окружили его; король был взят в плен. Сражение окончилось.

Радостные крики испускало войско; высоко развевались бунчуки и штандарты. Али сидел в белом шатре, одетый в белое одеяние и такую же чалму, со сверкающим мечом в руке, и был похож на посланника неба.

Он заменил справедливость милосердием: пленный король был помещен в другой шатре, и его собирались переправить через границу.

— Победа, победа! — торжествующе и радостно раздавалось в рядах магометан. Радость не имела границ. Между тем, наступил вечер, и полная луна осветила своими лучами картину этого торжества. А позади далеко, куда хватал глаз, поднимались к небу красные зарева горевших деревьев и городов — они обозначали путь победоносного войска.

Прежде, чем отдаться покою, Али объехал поле битвы, приказывая подобрать раненых и похоронить убитых, не делая различия между врагами и своими. Здесь он увидел Юсуфа, который бродил среди трупов, как гиена, скаля зубы.

Потом он вернулся в шатер и положил перед Зинаной свой меч. Но она упала перед ним на колени и воскликнула:

— Али — султан!

— Да здравствует Али, султан! — воскликнули за ней полководцы, и этот крик подхватило все войско.

Зазвучали цимбалы и начались танцы. Ночь превратилась в праздник. Каждый наслаждался радостью. Но Али удалился к себе и отдался ласкам Зинаны.

Едва взошло солнце, Али двинулся к столице. По сторонам дороги стояли жители и кланялись в землю своему новому повелителю. У городских ворот Али встретили старейшины и с выражениями покорности поднесли ему ключи. Толпы народа встречали его фанатическими криками радости.

Али, с гордым сознанием своего величия, спокойно принимать все эти изъявления покорности, как должное, и отправился вместе с Зинаной в королевский дворец.

Тысячи рабочих были собраны для того, чтобы украсить дворец и приготовить украшения для коронавания Али. Герольды и вестники были разосланы в разные стороны, чтобы возвещать всем подданным, что Али победил врага и сзывает всех на торжество своей коронации. Наследником своим он назначал сына Зинаны, а ее брал себе в супруги. Он тем охотнее поступал так, потому что получил известие из Индии о смерти Фараильды, убитой невольником, которого она приказала растоптать слонами.

На торжестве присутствовала вся страна: князья, дворяне, городские жители и крестьяне, до последнего нищего.

Сам день торжества был великолепен, точно и Аллах сочувствовал славе Али. Шейх-уль-Ислам в главной мечети возложил на Али султанскую золотую корону и такую же, меньшую, возложил на голову Зинаны. Потом, под звуки фанфар, шествие тронулось в тронную залу. Молодой султан вел за руку свою супругу, которая в золотом платье сверкала, как солнце. Али был в золотых латах, с мечом на поясе, которым он сломил врага, и в пурпуровом плаще. Его величественный вид возбуждал в собравшихся шепот удивления.

На коврах стояли дорогие курильницы, трои был покрыт шкурами пантер и над ним был парчовый балдахин, усеянный бриллиантами, сверкавшими, как росинки на солнце. По стенам стояли свои и неприятельские знамена и трофеи, целый арсенал всевозможного оружия, мечи, щиты, латы, панцири, копыя, луки, колчаны и ружья.

Справа и слева от трона, прикованные цепями, лежали львы и тигры, как эмблемы силы. Были собраны фрейли-



ны султанши в золотых платьях, рабыни в золотых поясах, далее стояли князья, полководцы, и солнечные лучи переливались на золоте одежд, играли в драгоценных камнях и сверкали на оружии. Только Юсуф был в черном платье с усеянными по нем рубинами, и его лицо было пасмурно, как ночь.

Али ввел Зинану на трон и занял с ней место. Начались музыка и пение. Принесли сына Зинаны. Али прижал мальчика к сердцу и воскликнул, подняв глаза к небу:

— Аллах помог мне сломить врага! Да будет благословен этот день и благословен этот ребенок!

Потом он передал ребенка матери, которая с радостными слезами прижала его к своей груди.

Тогда начался акт присяги; каждый подходил к Али и кланялся ему в землю, как великому повелителю. Его первый министр произнес слово:

— Твоя могучая рука, о султан, освободила нас из-под тяжелого ига чужеземцев. Ты спас корону и наполнил счастьем сердца твоих подданных. Пусть потомство твое процветет на троне как розовый сад, мы же по твоему мановению готовы лечь в пыль. Да здравствует султан!

Радостные крики собравшихся были ответом на эти слова, все подходило к трону с изъявлениями верноподданности. Воины с трудом сдерживали порядок. Посланники многочисленных государств подходили к трону и вместе с поздравлениями своих правителей подносили дорогие дары. Они подносили: амбру, золото, серебро, парчу, оружие, ткани и другие сокровища без числа.

И все они склонялись ниц перед троном и приветствовали Али, как короля королей.

Али был теперь властителем всего света.

### ХІІІ

Большего достиг Али, чем мог мечтать во сне, но одного не достиг — сердечного покоя. Среди высшего земного положения, он чувствовал себя неудовлетворенным. Жгучая тоска сжимала его грудь, на сердце лежала свинцовая тяжесть; золотая корона жгла ему лоб, как огненный обруч; немолкаемый голос раздавался в его ушах:

— Зюлейка, Зюлейка!

Он не мог ее забыть, вырвать из своего сердца. Мучительно упрекал он себя, что не последовал за своей возлюбленной в ту роковую ночь. Эту вину он не мог искупить никакими королевскими сокровищами. Напрасно искал он забвения в государственных трудах, напрасно переходил от праздника к празднику, от наслаждения к наслаждению. Червь в его сердце точил его и не давал ему покоя. Лицо его было пасмурно и печально. Охотно отдал бы он все свое могущество за одну Зюлейку. Шпионы и соглядатаи, которых он посылал отыскивать ее во все страны света, возвращались, ничего не достигнув. Она исчезла. Он никогда не назовет ее своею, он может о ней только мечтать.

Ее образ снился ему во сне. Она протягивала к нему руки, и ее печальное лицо как будто говорило ему:

— Зачем ты меня покинул?

Она как будто просила его:

— Али, приди в себя!

Ее призрак преследовал его, как его тень, но когда он протягивал руку, чтобы схватить его, он распылялся в воздухе.

Однажды, когда он был на своей половине с одной рабыней, на него напал страх. Он хотел бросить все и бежать отыскивать Зюлейку по всему свету. Он позвал Юсуфа и высказал ему свои терзания; тот слушал его с иронической улыбкой.

— Найди мне Зюлейку! — воскликнул он наконец, в гневе схватив Юсуфа за руку. — Только с ней я могу быть сча-

стливым!

— Разве я могу творить чудеса? — возразил Юсуф ядовито. — Разве я могу сдвигать горы и осушать моря? Разве я виноват, что ты терзаешься? Я помог тебе взойти на вершину человеческой славы, я доставил тебе могущество и силу, — чего тебе еще нужно? Зачем жалуешься ты, что тебе не каждую минуту светит солнце? Смотри, само небо меняется каждый день, а ты хочешь постоянного счастья!

— Я жажду Зюлейку! О, найди мне: я награжу тебя серебром и золотом и возведу на трон всей земли! Ты собака! Чрез тебя я потерял ее!

— Безумец, ты меньше, чем морская песчинка, — ответил Юсуф. — Если бы ты был умнее, ты бы не последовал моим советам!

— Ты злодей, рожденный для зла! — крикнул ему Али. — Да, я безумец, как безумцы те, кто утоляет жажду из отравленного источника!

И с кинжалом в руке он бросился на Юсуфа, но последний прынул в воздух и пропал как туман. Его насмешливо-холодный голос прозвучал из пустого пространства:

— Ха, ха! Ты хотел умертвить меня, кто разрушает дворцы и храмы, которому подвластно все живущее! Но Зюлейку ты увидишь...

И все смолкло.

Али с ужасом огляделся вокруг себя.

— Я хотел раздавить его! — воскликнул он. — Нет, я не червь, я раздраженный лев, я докажу ему это!

И вдруг он упал, как сраженный молнией; сознание покинуло его, действительность слилась с фантазией, грудь его была точно налита свинцом, он царапал судорожно сведенными пальцами ковер, глаза его горели, как угли, и дыхание сделалось прерывистым.

Хшшш.... раздался вокруг него странный шум, точно от внезапного вихря, и как в шабаше ведьм закружился вокруг него хоровод из женщин, игравших какую-нибудь роль в его жизни. Мара, обольстительно смеющаяся и зовущая к наслаждениям, полная страсти Фатима, гордая и сластолюбивая Фараильда, волшебна-простая Майя, преданная, са-

моотверженная Аста, дружественная Зинана. Они сплелись руками и кружились в дикой пляске, то медленной, то быстрой, как вихрь, от которой развевались их распущенные волосы. При этом из глубины, точно из ада, раздавалась музыка, и Юсуф отбивал для нее такт, ударяя по черепу человеческой костью. Отец Али, амин Акбар, играл в шахматы с отцом Зюлейки, эмир Рустан подкрадывался к Зюлейке, чтобы овладеть ею силой, шут Габбио спорил с кривляющейся негритянкой. Грубо разрисованный идол скалил свои зубы, слоны поднимали свои хоботы, тигры рычали, лошади ржали, собаки лаяли. У ног Асты лежала убитая змея. Потом шли мертвые воины, под глухие звуки турецкого барабана, и на их копьях висели человеческие черепа, а над ними высоко развивалось знамя полумесяца. Потом явился скелет, отвратительный скелет с кальяном гашиша в руках — и все опять завертелось в безумной пляске.

Али тяжело стонал, но видения его не оставляли. В стороне от танцующих стояли Сура и Зюлейка. Печально смотрела она на Али и протягивала к нему руки. Вдруг вспыхнуло пламя из трубки кальяна с гашишем, и вся картина заволоклась черным, удушливым дымом. Только одна Мара осталась еще через него видимой. Красавица превратилась теперь в отвратительную ведьму, покрытую пеплом от гашиша, и с отвратительной улыбкой она протягивала ему кальян.

Али закричал о помощи. Все его тело горело; он жаждал воды, как заблудившийся в знойной пустыне путник.

— Воды! — закричал он, — спасите!

И очнулся.

. . . . .

С изумлением огляделся он вокруг. Горячий пот покрывал его лицо и кровь клокотала в его жилах. Он не мог понять, где находится. Он увидел себя одиноким, на нищенском ложе. Не сон ли это? Он протер себе глаза. Нет, это действительность. Он узнал палатку, в которую привел

его Юсуф после смерти его отца, давно, давно, как ему казалось. Сквозь ее дыры пробивались вовнутрь солнечные лучи. Не могло быть никакого сомнения, он находился в той же палатке. Он еще раз осмотрелся. Он увидел, что одет в лохмотья, увидел валявшееся на голой земле свое заржавленное оружие, увидел остывший кальян с гашишем. Возможно ли это?

Он увидел подле себя обломок зеркала, взял его в руку и поднес к лицу, испустив крик ужаса:

— Нет, это не я!

Его волосы были спутаны и прилипли к вискам, его глаза потухли и ввалились, лоб сморщился, как у старика, губы высохли и щеки ввалились, как у скелета.

С отвращением отшвырнул он прочь зеркало.

— Это обман, — воскликнул он, — надо мною глумятся! Я всемогущий султан, а не нищий в лохмотьях! Скорее в мою тронную залу! Где мои министры? Где мои паладины, невольники, которые повиновались одному моему взгляду? Сюда, сюда! Аллах, что со мной? Никто ко мне не является! Зюлейка, Зюлейка!

И вот произошло новое чудо. Тихо приподнялась пола палатки, и Зюлейка вошла к нему! Али был поражен изумлением, как если бы среди ночи вдруг взошло солнце. Она показалась ему феей, посланной с неба.

— Зюлейка, Зюлейка! -- едва он имел силу прошептать.

— Али, мой Али!

И она нагнулась к нему, припавшему к ее ногам. Ее голос прозвучал для него, как музыка. Да, это была она, добрая, любящая, единственная его властительница.

Он не мог встать, и она прилегла к нему, прижав его к своей груди. Оба были так счастливы, не могли говорить. С глубокой грустью видела Зюлейка перемену, происшедшую с Али, но она не упрекала, а утешала его, и ее слова лились, как бальзам, в его измученное сердце.

— О, как я тебя искал, — прошептал он наконец. — Моими мыслями я всегда был с тобой, моя любимая!

— Ты меня ласкал только в воображении, — ответила она грустно, — только в воображении, а не в действительности.

— Как это может быть? — возразил он. — О, я многое сделал и многое выполнил! Послушай только!

И он рассказал ей все, что произошло с ним с той ночи, когда эмир Рустан ее похитил. Он окончил тем, что он султан, властвующий над жизнью и смертью своих подданных, и не понимает, как очутился в этой грязной палатке.

— О, мой Али! — воскликнула Зюлейка, — ты ребенок, бедный, обманутый, больной ребенок! Но теперь я с тобой, и ничто уже более не будет тебе вредить.

— Ты мой ангел-хранитель, — прошептал он.

— Так нужно открыть тебе глаза, — произнесла она твердо. — Ты должен узнать правду, чтобы выздороветь. Ради нашей любви выслушай меня и прости, если мои слова будут жестоки. Я говорю не для того, чтобы тебя опечалить, но чтобы тебя спасти. Твоя упавшая сила должна восстановиться. Заблуждение долго туманило твои глаза, теперь ты должен прозреть. Твое сознание было отуманено, твоя воля сломлена, и твое тело одрябло. Ты так ослаб, что мог умереть, и я пришла вовремя, чтобы тебя спасти.

С широко раскрытыми глазами слушал ее Али и тихо проговорил:

— Да, говори мне все; я чувствую себя в силе все выслушать. Я знаю, что ты сама правда и любовь и от тебя не может быть никакого обмана. Даже в твоём голосе звучит для меня успокоение.

— Все, что ты мне рассказал, — проговорила Зюлейка, — только плод твоего воображения. Твои геройские дела — игра твоей фантазии. Все это произошло от курения гашиша, яд которого вошел в твою кровь и унес тебя в область грез. Ты не герой и не султан. Ты всеми покинутый, бедный, больной человек!

— Остановись, Зюлейка! Нет, нет! Ты заблуждаешься! Так правдиво не может сниться, — воскликнул Али в волнении.

— Но, мой возлюбленный, — ответила она, — твоя жизнь — сплошной сон после нашей свадьбы. Ничего ты не сделал, ничего не выполнил!.. Ты был соблазнен одной женщиной и стремился только к наслаждениям. Ты погубил свое

время и едва не погиб. Смотри, вот лежит кальян с гашишем. Уже с первым глотком вдохнул ты в себя его губительный яд, который действует разрушительнее, чем неумеренное употребление вина, запрещенного нам пророком.

— Меня соблазнила проклятая Мара, дочь Юсуфа, — воскликнул Али. — Того самого Юсуфа, который был свержен с неба и проклят.

— Да, проклят, — подтвердила Зюлейка, — прокляты оба. Они соблазнитель и они во всем виноваты. Твое сердце доброе, твоя воля была крепка, ты правдив и честен, но ты ослабел, а в слабости кроются все пороки.

— Сон... сон, навеянный гашишем, — прошептал Али.

— Блестящий сон, — сказала Зюлейка.

— Сон был лживый и обольстительный, но иногда так прекрасный, так чудно прекрасный! Но пробуждение для меня еще прекраснее, потому что я нашел тебя, моя ненаглядная, и теперь я буду твоим вечно.

Тогда принялась она рассказывать, что произошло с ней.

## XIV

— Эмир Рустан, вырвав меня из твоих рук и посадив на лошадь, отвез в свой отдаленный замок. О, как мне было тяжело очутиться вдали от тебя, мой Али, во власти этого человека! Я хотела бы умереть, если бы меня не поддерживала надежда снова с тобой увидеться. Я не боялась гнева эмира, но его любовь наводила на меня страх. Все мои мысли были направлены на то, чтобы убежать и спастись от его ужасных обаяний. Я боялась насилия с его стороны и была приятно поражена его сдержанностью. Он не унострелял против меня никакой силы и относился ко мне почтительно. На этом я построила свой план.

Я притворилась, что охотно стану его женой. Обрадованный этой переменной во мне, он устроил богатый свадебный пир, на котором вино лилось через край и все присутствовавшие перепились. Эмир рычал как тигр, когда вел меня на свою половину. Рабыни явились раздеть меня, а эмир в опьянении упал на ковры. Это опьянение спасло меня. Когда я, дрожа от стыда и страха, предстала перед ним и он уже протягивал ко мне руки, я схватила лежавший подле кинжал и ударила его с силой в грудь. Он захрипел, опрокинулся навзничь, вцепился судорожно сжатыми пальцами правой руки в полог — и все было кончено. Я вновь принадлежала только одному тебе.

Быстро были окончены приготовления к бегству. Все в доме спали, упившись вина. Некоторые из людей эмира, сочувствовавших мне, помогли мне бежать и достигнуть одного арабского племени, где я была уже в безопасности.

Это племя было в войне с испанцами, возмущившись против их притеснений; у меня явилось желание участвовать в этой войне. Я села на коня и с оружием в руках устремилась на врагов в рядах наших воинов, презирая опасности. Мы победили, и племя выбрало меня своей предводительницей.

Не напрасны были речи моего отца, каида Мираба, который умер вскоре после твоего отца; я не забыла ни одно-



го из его уроков, и они принесли мне огромную пользу в управлении целым племенем.

В моем торжестве мне не хватало только тебя, мой Али, моего супруга. Много благородных мужей добивались моей руки, но я осталась тебе верна. Я выговорила себе право самой избрать себе супруга и стала наводить справки о тебе у кабилов.

О, мой Али, твои не уважают тебя более; для них ты потерянный. Твой отец умер, и ты должен был бы стать после него амином; но ты ослаб, предавшись губительному пороку. Все-таки я стала искать тебя и, наконец, нашла. Приди же ко мне. Все еще может поправиться. Ты опять станешь тем, кем был, князем и предводителем. Ты еще не потерянный — я теперь с тобой!

Али в слезах склонился к ней, и эти слезы его облегчили. Он сознавал теперь свою вину, сознавал свое заблуждение и страстно желал стать прежним Али.

Он взял ее руку и поцеловал ее.

— Ты сделаешь меня прежним, — воскликнул он, — будь же добра ко мне. О, как ты меня обрадовала и осчастливила. Так возьми же меня на всю жизнь! Я точно вновь родился. И это только благодаря тебе, моей супруге. Но я недостоин тебя. Ты героиня, а я расслабленный лентяй и развратник.

— Одно сознание своей вины искупает ее, — ласково улыбаясь, промолвила Зюлейка. — Выздоровление твое близко, и окрепнувшая воля довершит остальное.

— Но мой грех так велик, я так виноват, — жаловался Али.

— Ты виноват, как мы все. Все мы иногда делаем не то, что должны. Почему? Мы этого не знаем, это мировая тайна. Знай, Али, я также виновата, узнай и мою вину.

И она рассказала ему о своем купанье в источнике Вадэль Кебире.

— Тщеславие овладело мною, — сказала она, — я хотела быть вечно юной, вечно красивой против человеческой натуры. Но этот источник обоим нам принес несчастье. Если бы я не последовала моему намерению, меня не увидал бы

эмир Рустан и не почувствовал бы ко мне страсти. В этом моя огромная вина, и я прошу тебя ее простить.

— Ты великая, сильная, единственная! — мог только он произнести, и поцелуй соединил их губы.

— Так уйдем же из этой предательской палатки. Идем, Али, отсюда!

Он уже поднялся, готовый за нею следовать.

Тогда вдруг раздался громовой удар. Юсуф с оскалившей зубы львицей явился перед ним и загородил ему дорогу. Теперь он явился во всем своем торжествующем могуществе, как властитель над всем живущим, в образе косящей смерти.

— Нет, теперь ко мне! — воскликнул он голосом, как будто выходящим из ада. — Ты мой! Я купил тебя ценой отравляющего гашиша! Разве ты не заметил черепа на каляне, который подала тебе Мара? Твой час пробил! Смотри: я коснусь тебя ногой — и ты превратишься в прах!

Юсуф прикоснулся к Али и исчез.

В ужасе Зюлейка бросилась к Али, поддержала его голову и поцеловала его. Он улыбался, точно собираясь за ней следовать, но для него все уже было кончено.

— Выстрадал, успокоился! — прошептала Зюлейка. — Демон не имеет теперь над тобой власти, и в раю ты найдешь покой. Но ты мой возлюбленный и по смерти.

Зюлейка оделась в глубокий траур и отказалась от всех жизненных радостей. Она поселилась в уединенном доме, грустила об Али и жила воспоминанием о нем.

Но она не оставалась одинокой. У нее, бездетной, было много детей: все бедные, больные и лишенные помощи были ее детьми.

А. Голенищев-Кутузов

# ГАШИШ

(Рассказ туркестанца)

# ГАШИШЪ

## РАЗСКАЗЪ ТУРКЕСТАНЦА.



СОЧИНЕНІЕ

ГРАФА А. ГОЛЕНИЦЕВА-КУТУЗОВА.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

ТИПОГРАФІА В. ТУШНОВА, ПО НАДЕЖДИНСКОЙ УЛИЦѢ, ДОМЪ № 39.  
1875.

Ты видишь, лик мой тощ и бледен;  
Я нищ и стар; я скорбью съеден.  
Я был и молод, и богат —  
Я расточил свое богатство;  
Промчалась юность; много крат  
Врагов изведаль я злорадство  
И лживую печаль друзей:  
То казнь была моей гордыне.  
Уж мне не жаль минувших дней!  
С судьбою примирившись ныне,  
Я в поте дряхлого лица  
Тружусь и жизни жду конца;  
Но памятен мне день ужасный,  
Когда, презренный и несчастный,  
Один, без крова, в поздний час,  
Я очутился в первый раз.

Уж тенью Самарканд покрылся,  
Народ с базара расходился,  
Дервиша смолк унылый крик,  
Закрылся торг, кончались споры...  
Дородный сарт, седой старик,  
С усилием надвигал запоры  
На двери лавочки; огонь  
Блеснул в потемках; чей-то конь,  
Понурия голову, лениво  
Брел без хозяина домой.  
Все утихало, лишь порой  
По сонной улице пугливо  
Перебежать из дома в дом  
Спешила женщина; потом,  
Как мышь, в тени двора скрывалась —  
И вновь молчанье водворялось.  
Счастливей час для богачей!

Их ждут объятья жен стыдливых  
Иль пир в кругу друзей шумливых,  
При пляске молодых батчей.  
Уж за стеной раздались клики,  
И музыки веселый звук,  
И пляски быстрой топот... Вдруг  
Смятенье, рев несется дикий:  
Батча лукавый угодил,  
Восторг собрание охватил;  
Бегут, и мечутся, и стонут....  
Но вот опять все звуки тонут  
В ночном молчании...  
Луна  
Из-за садов свой лик являла  
И город сонный освещала.  
В ту ночь казалась мне она  
Бледна и зла. Людьми забытый,  
К стене прижавшись, немой,  
С поникшей долу головой  
Стоял я; злобой ядовитой  
Томила больная грудь, —  
Мне было негде отдохнуть!  
И о судьбе своей жестокой  
В тиши я плакал одинокий;  
Но нищему внимал Алла;  
К нему печаль моя дошла:  
Он помощь мне послал неожиданно.  
Вдруг, вижу я, — передо мной  
Старик с дрожащей головой  
Стоит; таинственно и странно  
Мерцает беспокойный взгляд  
Очей, луною озаренных;  
В устах, усмешкой искривленных,  
Зубов темнеет черный ряд...  
И звуки вкрадчивого слова  
Я слышу в тишине ночной:  
— О чем ты плачешь? — Я без крова.  
— Кто ты? — Наказанный судьбой,

За то, что... — Удержись! Причину  
Мне знать не нужно; проходя,  
В ночи твой плач услышал я  
И захотел твою кручину  
Советом мудрым облегчить.  
— Отстань, старик! Твое участие  
Не нужно мне; мое несчастье  
Никто не может исцелить!  
— Смири порыв гордыни ложной.  
Вот кошелек; мой дар ничтожный  
Прими и слушай: средство есть  
В печалих ведать наслаждение  
И, позабыв судьбы гоненье,  
С отрадой бремя жизни несть.  
Ты плачешь; но в земной юдоли  
Унынья, нищеты, забот  
Алла спасенье подает  
Рабам его священной воли.  
Алла могуч! Гашиша дым  
Для счастья нищих создан им!  
Скорей же, горем отягченный,  
Иди в приют уединенный,  
Струю волшебную вдыхай, —  
И тяжесть скорби безысходной  
С души спадет, и, вновь свободный,  
Ты на земле познаешь рай.

Сказал и быстро удалился,  
Оставив дар в руке моей...

В кофейне огонек светился, —  
Шатаясь, побрел я к ней.  
Вошел... Средь дымного тумана  
Сидели люди вкруг кальяна.  
Кто сам с собой вел разговор,  
Кто, на огонь уставив взор,  
В торжественном оцепенении,

Казалось, созерцал виденье;  
Кто, мирно голову склонив  
На грудь, в дремоту погружался,  
Кто пеньем сладким упивался...  
Я сел утрюм и молчалив,  
Чубук схватил рукою жадной,  
Вдохнул гашиша дым отрадный  
И дожидаться стал. Порой,  
Объят неведомой мечтой,  
Кофейни гость в восторге диком  
Вставал и хохотом, и криком  
Вертеп убогий оглашал;  
Тогда хозяин прибегал,  
Чтобы унять безумца бранью;  
Но, предан чудному мечтанью,  
Окрест не видя ничего,  
Счастливец презирал его  
Ничтожный гнев и в пляс пускался.  
Но вдруг почудилось мне,  
Что сам, как будто в странном сне,  
Я громким смехом заливался.  
Да где же горе? — Горя нет!  
О чем я плакал так недавно?  
На что сердился своенравно?  
Мне счастье нежный шлет привет!  
Я все забыл... я в упоеньи...  
То было райское мгновенье!  
Я понял, что гашиша дым  
Уж духом властвовал моим.

Быть может, житель стран холодных,  
Суровых, темных и бесплодных,  
Не ведал ты в снегах своих  
О чудных таинствах Востока?  
Я расскажу тебе о них  
Во славу Бога и Пророка.  
Внемли ж словам моим, пришлец,



И верь правдивому рассказу!  
За слово лжи пускай Творец  
Пошлет на плоть мою заразу,  
Пусть иссушит источник вод  
Мне на пути в степях горючих  
И облаком песков летучих  
Мой труп истлевший занесет!

Забыв житейские тревоги,  
Унылых мыслей не тая,  
На войлоке, поджавши ноги,  
Сижу я, весел, как дитя!  
Куда ни обращаю взоры,  
Повсюду дивные узоры  
И разноцветные ковры.  
Роскошной Персии дары;  
Шелками шитые халаты,  
В сияньи золота чалмы,  
За миг — и бледны, и темны,  
Теперь — прекрасны и богаты, —  
Пестреют ярко предо мной  
Игровой, радужной красой!  
А люди, люди! Не похожи  
Они вдруг стали на людей:  
Забавный вид! Какие рожи!  
То сонм невиданных зверей!  
Один ветвистыми рогами  
Товарища бодает в бок;  
Другой, с руками и ногами  
В ковровый спрятавшись мешок,  
Клубочком по полу катится;  
Кто вырос вдруг до потолка,  
А кто стал мельче паука...  
Все пляшет, мечется, кружится —  
Быстрее, быстрее — и, увлечен  
В тумане дикого вращения,  
Из глаз теряю я виденья  
И вдруг, как будто дальний стон,

Раздался звон.  
Так чуден он,  
Что, упоен,  
Я в сладкий сон.  
Им погружен  
И все кругом,  
Объято сном,

Внимает в сумраке немом,  
Как, потрясая небосклон,  
Несется он,  
Тот дивный звон.

Звон — и широко раскрылись зеницы;  
Звон — и на воле; подул ветерок;  
Звон — пробудились певчие птицы,  
Алой зарей разгорелся восток.  
С звоном сливаются новые звуки:  
Каплет роса с оживленных деревьев,  
Ветви в одежде зеленых листов  
Манят меня, как мохнатые руки,  
В темные сени роскошных садов.  
Ропщут там воды — прозрачные воды!  
К ним, покидая узорные своды  
Пышных гаремов, веселой гурьбой  
Жены эмира с зарей прибегают,  
Песни их громкие страсть распаляют,  
Будят желанья в груди молодой...  
Крепкие стены красу их скрывают...  
Но, как тигрица на гриву коня,  
Бешено на стену кинулся я.  
Прыгнул — и вот за ревнивой оградой  
Жадно дышу благовонной прохладой;  
Спрятавшись в чаще кудрявых кустов,  
Жду я видений; но тех голосов,  
Что долетали ко мне за мгновенье,  
Смолкло волшебнo-лукавое пенье.  
Все в неподвижно-нависших садах

Пусто... Но чу! Недалеко в кустах  
Слышится шепот, призыв потаенный:  
«Спеши, мой яхонт драгоценный,  
Ко мне, ко мне! Я здесь одна;  
Тревогой грудь моя полна.  
Я жажду наслаждений новых,  
Безумных, молодых страстей.  
Я ускользнула от очей  
Эмира евнухов суровых,  
Чтоб убежать с тобою в даль.  
Ужель тебе меня не жаль?  
Я молода... не в силах доле  
У старика скучать в неволе;  
Возьми меня, люби меня.  
Ты смел и молод — я твоя!»

И та, чей голос соловьиный  
Меня так чудно призывал,  
Явилась мне, и стан змеиный  
К груди с весельем я прижал.  
Меня отталкивали руки.  
«Боюсь... ступай...» шептал язык,  
«Не уходи», с улыбкой муки  
Молил откинувшийся лик.  
Я видел взор сердито-нежный  
Сквозь сеть опущенных ресниц:  
Пылал он страстию мятежной,  
Как туча, полная зарниц!  
Я чуял сердца трепетанье  
(Так голубь бьется молодой  
В когтях орла, еще живой)...  
И жгло меня любви дыханье,  
Как вихрь пустыни, в страшный час,  
Когда, играя и кружась,  
Самум с полудня налетает  
И караваны замечает  
Горячей пылью...  
Чудный сон!

Как дым мгновенный, скрылся он.  
В волнах неожиданных тьмы глубокой  
Призыв промчался одинокий,  
Прощальный, беспомощный стон!  
И страх пред местию жестокой  
Внезапно душу обуял...  
То было краткое мгновенье;  
Но непостижное мученье  
Я в то мгновенье испытал!  
Темницы тесной мрак и холод,  
Терзанье пытки, жажду, голод,  
Неумолимый гнет оков...  
Казалось мне — рои клопов\*  
Въедались в плоть мою; землею  
Я был засыпан с головою;  
Я погибал!  
И вдруг на миг,  
Среди ужасного мечтанья,  
Во мне проснулся луч сознания;  
В кофейне я услышал крик:  
«Вяжи его!» — и в то ж мгновенье  
Я навзничь с грохотом упал,  
И кто-то руки мне связал, —  
И вновь насмешки, брань и пенье...  
Но скоро в вихре новых дум  
Исчез земли презренный шум.

И чую я — крылья растут за плечами,  
Орлиные крылья! И тучи кругом  
Таинственно шепчут, несутся клубами...  
Вдруг молнии блеск, оглушительный гром...  
И мчусь я в пространстве, обвитый грозой,  
Любуясь с неба далекой землею.  
Там лентой серебристою вьется река,

---

\* Среднеазиатские деспоты сажают преступников в зиндан — тесную подземную темницу, наполненную клопами (*Здесь и далее прим. авт.*).

В ней так же, как в небе, бегут облака!  
Склонившись на берет, аул одинокий  
Задумчиво дышит прохладой волны,  
А справа и слева по степи широкой  
Пасутся киргизских коней табуны-  
И вижу я в дымке степного тумана-  
Торжественно движется цепь каравана.  
Мне слышится шорох песчаных зыбей,  
Шаганье верблюдов и ржанье коней;  
Цветистой, сверкающей, длинной цепью  
Плывут, извиваясь над желтой степью,  
Лениво колеблясь, взрывая пески,  
И ярко на солнце белеют тюки;  
А черные кони, как черные тучи,  
То медлят, то мчатся, послушно-могучи.  
Вот близится всадник...  
Отец мой, отец! Тебя я узнал!  
Посмотри, твой птенец,  
Давно от гнезда непогодой отбитый,  
Тобою, быть может, уже позабытый  
Опять отыскался... Тебя он зовет,  
К тебе он летит... Но бесплоден полет:  
Скрывается призрак степного обмана  
И нет уж верблюдов, коней, каравана...

Безлюдно все снова вокруг.  
Не быются усталые крылья,  
С уныньем и стоном бессилья  
На землю я падаю вдруг.

И снова один  
Средь мертвых равнин  
Лежу на песке  
В безмолвной тоске,  
А хищник степной,  
Орел, надо мной  
Летает, кружит,  
В глаза мне глядит —  
И, страхом объят,

Я понял тот взгляд:

Он говорил с насмешкою спокойной:  
«Усни, усни недвижимым, мертвым сном!  
Пусть солнца луч в степи пылает знойной:  
Накрою я тебя своим крылом.

Зачем держать в уме пустые грезы?  
Зачем блестит в глазах твоих слеза?  
Я съем твой ум, я выпью твои слезы,  
Я выключу ненужные глаза.

Мятежные волнуют сердце страсти —  
Я сердце отыщу в груди твоей  
И выну вон, и разорву на части:  
Оно умрет для горя и страстей!

И зверь придет, прожорливый и смелый,  
И хлынет дождь, и ветер набежит;  
Над грудой костей сухой и белой  
Вновь солнца луч веселый заблестит.

Но и тогда тебя я не покину:  
И день, и ночь, орел сторожевой,  
Я стану криком оглашать равнину  
И охранять костей твоих покой!»

Я молча внимал.  
Орел подлетал  
Все ближе ко мне...  
Но вдруг в тишине  
Дрогнула степь, поднимается ропот,  
Шум и оружий бряцанье, и топот.  
Вижу: несутся, как ветер легки,  
Всадники... Враг!.. Ты творишь ли молитвы?  
Сабли их остры; как лес, бунчуки  
Подняты, выются, предвестники битвы.  
«Полно, товарищ, покоиться, встань!

Верному ль время терять за мечтами?  
Вот тебе конь и оружие; за нами  
Ты поспеши на великую брань».  
С края земли,  
В знойной пыли,  
Звук,  
Стук  
Слышен вдали.  
То не обман,  
Бьет барабан,  
Там  
К нам  
С западных стран  
Вышли полки,  
Блещут штыки.  
В строй!  
В бой!  
Близки враги!  
И кони с весельем заржали, и в сечу  
Быстрее крылатых, погибельных стрел  
Помчались неверным гяурам навстречу...  
И сталь засверкала, и бой загудел.  
Вихрь пыли и крови взвился над землею:  
Мелькают в нем головы пестрой толпою,  
Горящие очи, иссохшие губы,  
Страданьем и злобою сжатые зубы,  
В крови распростерты стройные станы,  
Предсмертные взоры и смертные раны...  
Но вот, перегнувшись на белом коне,  
Неведомый воин несется ко мне:  
Блестит его сабля, звенят его шпоры, —  
То русский, то враг!  
Наши встретились взоры...  
Грозя мне, привстал он на легком седле;  
Уж вижу морщины на старом челе,  
Наряд боевой и на бляхах насечку,  
И красные ноздри коня, и уздечку...  
Мгновенье — и бой загорится на смерть.

Я дрогнул... Взглянул на далекую твердь:  
Там, с пристальным взглядом, зловеще унылый,  
Над битвой парил Азраил длиннокрылый;  
Казалось, он в битве кого-то искал...  
Нашел — и, сраженный, с коня я упал!  
И конь мой, испуган, взвился надо мною,  
Как буря, дыша и гремя в вышине;  
Взвился, покачнулся и черной скалою  
Внезапно застыл. И почудилось мне,  
Что неба достиг головой он косматой,  
Что бой раздавил он, что грудью подъятой  
Затмил лучезарное солнце. Вокруг  
Все тенью ночью покрылося вдруг  
И звезды блеснули, и месяц далекий,  
Серпом перегнувшись, в лазури глубокой  
Повиснул, янтарною тучкой обвит.  
Гляжу — то не конь надо мною стоит.  
То дикий утес при луне серебристой  
Вздывается гордо стеной каменистой.  
Он дремлет... Но сумрак окрестный гудит,  
Гудит голосами, и плеском, и ревом...  
Все громче и громче! И в ужасе новом  
Я вспрянул, взглянул — верь ты мне иль не верь, —  
Но целое море, щетинясь, как зверь,  
Объемля всю землю от края до края,  
Мильонами волн и дымясь, и сверкая,  
Бежало, как войско на приступ, ко мне.  
Я кинулся с воплем к отвесной стене,  
Но зверь-океан нагонял меня; вот  
К скале он прихлынул, скалу он грызет,  
Взметает и пену, и брызги, и пламень...  
Дрожащей рукой ухватившись за камень,  
Не в силах от пропасти глаз отвести,  
Висел я в пространстве. Одежды мои,  
Как крылья подстреленной птицы, метались,  
Мне били в лицо, трепетали и рвались...  
И видел я праздник подводных духов:  
Они веселились в пучине просторной;



На каждой волне прыгал карлик проворный,  
Бил в бубны, коверкался на сто ладов,  
Плевал на меня в вышину и смеялся,  
Нырлял и опять на поверхность являлся;  
И видел я глубь океана, и рыб  
Чешуйчатых, малых, больших и громадных,  
Вертлявых и пестрых, холодных и жадных,  
Стадами бродивших средь пенистых глыб.  
Все выше и выше вздымались те глыбы,  
Все ближе и ближе являлись мне рыбы.  
Уж карлы, скача на упругих волнах,  
Руками старались поймать мои ноги;  
Лишь месяц далекий, не зная тревоги,  
Все ярче и ярче блистал в небесах  
И звезды спокойно мерцали в лазури,  
Где нет ни морей, ни утесов, ни бури!  
И слышал я стоны пародов земных  
С полудня, с полночи, с заката, с востока, —  
Все гибло в кипящих пучинах морских,  
Все звало на помощь Аллу и Пророка!  
Но черная туча на небе взвилась,  
Как призрак, махая краями одежды;  
И скрылись звезды, и месяц погас-  
Последняя искра, последней надежды;  
И грянул впотьмах над вселенною гром,  
И голос победный послышался в нем:  
    «Вот слово Мудрого, — Того,  
    Кто сотворил моря и сушу:  
    Рабы презренные! Чего  
    Хотите вы? Я мир разрушу,  
    Я новый в миг опять создам,  
    Но в нем, отверженцы Пророка,  
    Клянусь зрачком десного ока,  
    Уже не будет места вам!  
    Не надувайтесь же гордыней.  
    Ответьте мне: где ваша мощь?  
    Вы зрели тучу над пустыней  
    И говорили — это дождь.

Лжецы! То вихрь, несущий кару;  
Готовьтесь к грозному удару,  
Дрожите, падайте во прах!..  
Зачем так исказились лики?  
Что означают эти крики?  
Я отвечаю: это страх  
Творивших зло и преступленья;  
В великий день суда и мщенья  
Они ничто в моих глазах!  
Я ослеплю их всех туманом,  
Я затоплю их океаном,  
Я вскипачу тот океан. —  
Они погибнут в муках ада;  
Но ждет великая награда  
Того, кто в жизни чтит Коран!»\*

Умолк — и мир поколебался,  
И в черном вихре я помчался,  
Куда — не знаю! Предо мной,  
Мгновенно слившись в рой летучий,  
Огонь и мрак, и дым, и тучи  
Мелькали с дикой быстротой,  
Безумным хором оглушая,  
Свистя, шипя и завывая,  
Как будто сонмы злых духов  
Слетались с четырех концов  
На праздник гибели вселенной.  
Но снова грянул гром священный-  
В миг шум сменился тишиной,  
Умчался ночи мрак бессильный,  
Разлился свет волной обильной...  
Но где же я и что со мной?

Над головой, безоблачный, безбрежный,  
Небесный свод раскинулся в сияньи  
И радуги великие врата

---

\* Подражание Корану.

Семью цветами ярко трепетали.  
Казалось, в них камней самоцветных  
Неистощимый, частый лился дождь,  
Волшебно в солнечных лучах играя  
И падая на блещущего солнца  
Бесценный, ослепительный алмаз.  
И в райские врата вступил я смело.  
Передо мной в туманном отдалении  
Зубчатых стен причудливый узор,  
Роскошные дворцы и минареты  
Являлись, как воздушные обманы,  
Как гения свободный мечты.  
Я видел их, но к ним мне не хотелось,  
Они лишь взор красой своей ласкали.  
Вокруг меня цвел дивный вертоград  
И я вдыхал цветов благоуханье,  
То нежное, то страстное, как счастье  
Весенних грез и пламенных надежд;  
Напевы птиц, сливаясь с журчаньем  
Ленивых волн студеного потока,  
Меня влекли под сладостную сень  
Разросшейся над берегом оливы.  
Там хорошо в дремоте молчаливой  
Склониться, созерцая вечный день.  
И я пошел, и лег, и рой видений  
Слетел ко мне для страстных наслаждений,  
Для радости и неги, для любви,  
Незнающей печали и разлуки.  
Какой язык или какие звуки  
Их выразят? Закрыв глаза мои,  
Я пил вино небесного веселья  
И в облаке волшебного похмелья  
Мне слышалось: вкушай, вдыхай, лови-  
Все для тебя! плоды, цветы, лобзанья  
Покорных дев... Улыбки их очей,  
Их ласки, их напевы, их желанья...  
О, не страшись! Огня в груди твоей  
Не утолят блаженные мгновенья:

Здесь в счастье нет отравы пресыщенья,  
Как нет измен, притворства и цепей!  
И я открыл и взоры, и объятья  
Для счастья...

Но что же это? Ночь?

Дрожащий свет, толпа, кофейня?! Прочь!  
Прочь с глаз моих вы, призраки проклятья,  
Противный сор противной мне земли!  
Как смели вы явиться? Как могли  
Вы заслонить собой картины рая?  
Гашиш, спаси! О, дайте!...

И срывая

Веревки с рук моих и ног,  
Хотел вскочить я — и не мог!  
Взглянул — и стыд объял меня:  
Одежда ветхая моя  
Была разодрана в клочки.  
Да где ж чалма?.. где башмаки?  
Где кошелек — случайный дар?  
Все, все похищено!.. Угар  
Над распаленной головой  
Носился смутною волной;  
Но ужас жизни сознал я  
И слез потоком залился.

Пришлец! С тех пор промчались годы.  
Поденщик, нищий, раб людей,  
Влачу без цели, без свободы  
Я бремя долгих, тяжких дней;  
Привык я к брани и презрению,  
Кормлюсь работой кое-как;  
Но лишь с небес отрадный мрак  
На землю падает и тенью,  
Как ризой ночи, облачен,  
Базар впадает в мирный сон,  
Забывтый всеми, гнусный парий.

Зажав в руке дневной динарий,  
Спешу в кофейню я и там  
До утра предаюсь мечтам,  
Пора! Ты видишь, солнце село,  
Томится дух, устало тело... Пришлец!  
Не хочешь ли со мной  
Ты испытать гашиша чары?  
Пойдем... Смеешься?... Бог с тобой!  
Прощай... Но если бы удары  
Судьбы жестокой на тебя  
Обрушились и жизнь твоя  
Нежданным горем омрачилась,  
Припомни, что со мной случилось...  
Алла могуч! Гашиша дым  
Для счастья нищих создан им!

П. Гнедич

# ГАШИШ

Рассказ моего знакомого

Миг один — и нет волшебной сказки  
И душа опять полна возможным...

А. Фет

## I

Дядю моего, Александра Николаевича Тогаева, существования которого я до тех пор и не подозревал, в первый раз пришлось мне увидеть в начале шестидесятых годов.

Жил я тогда у своей тетки, двоюродной сестры Александра Николаевича, в Петербурге. Приехал он к нам, как теперь помню, утром, размотал в прихожей большую узорную шаль, служившую ему вместо шарфа и, всунув ее в бровую шапку, вошел к нам в залу. Это был молодой человек, лет двадцати четырех, высокий, статный, красивый, с волнистыми светло-каштановыми волосами, заброшенными за уши, и небольшой русой бородкой, обрамлявшей его несколько худощавое лицо. Я, десятилетний мальчик, занимался в это время раскраской карикатур каких-то, покрывая густым слоем гуммигута лошадь; при входе незнакомого мужчины, я с удивлением приподнялся с места и несколько важно спросил: «Что вам угодно?..» Он, вместо ответа, заглянул в мое рисование и, покачав головой, промолвил: «Палевых лошадей, молодой человек, не бывает!..»

В это время вошла тетя. Александр Николаевич прямо подошел к ней, назвал себя по фамилии и поцеловал ее руку. Она радостно вскрикнула, чмокнула его в лоб, посмотрела в глаза, еще раз чмокнула и с мокрыми от радости глазами сказала мне:

— Vous savez, Paul, — c'est mon cousin, et votre oncle!\*

Мы протянули друг другу руки и даже поцеловались, причем часть краски, оказавшейся на моей щеке, оставила

---

\* Знакомься, Павлик — этой мой кузен и твой дядя (фр.). — Здесь и далее прим. ред.

желтенькое пятнышко на носу дяди.

— А мне эти люди и не доложили, — говорила тетя, усадив его на диван. — Как я рада вас видеть, ваша бедная **maman, ma pauvre tante\*** — умерла. Ах как это грустно, — и батистовый платочек поднялся к тетиным глазкам. — Скажите, что ваш университет, — вы, кажется, — (тут она несколько понизила голос) — кажется, вышли оттуда?..

Он улыбнулся.

— Вышел, — сказал он. — Беспорядки кой-какие произошли.

— **Mon Dieu!\*\*** — ужаснулась тетя.

— Приехал в Петербург — здесь продолжать учиться.

— Да, да! Я слышала про ваши удивительные способности! Вы, вероятно, на восточный факультет...

Он качнул утвердительно головой.

— Да, я слышала, слышала... Вы чай или кофе пьете?..

Пока она звонила и отдавала приказания прислуге, я исподлбья осматривал дядю, побалтывая кисточкой в мутной воде стакана. Меня прежде всего поразила разница лет между ним и тетей. Ей было тогда лет сорок, даже с лишком, она уже пятый год вдовела, а он казался еще юношей. На нем был синеватый сюртучок и серые брюки; галстук был повязан небрежно, но сапоги отлично вычищены, это я тотчас заметил. Во всей его фигуре было много милого, симпатичного. Когда он говорил, рот его невольно слагался в улыбку, а самые кончики бороды слегка дергались. Голос у него был тоже под стать фигуре — мягкий, слегка звенящий на верхних нотках. Он сидел, поглаживая одной рукой мех на своей шапке, и изредка взглядывал на меня. «Какой он молодой, — думалось мне, и на дядю-то он насколько не похож, — какой он дядя!..»

Он не торопясь рассказывал, как по случаю беспорядков он был поставлен в неловкое положение, и как ректор по знакомству предложил ему самому удалиться. Он тонко

---

\* Мать, моя тетя (фр.).

\*\* Боже мой! (фр.).



намекнул, что здесь, в Петербурге, у него, кроме тети, нет знакомых домов.

— Я имел удовольствие видеть вас только раз, еще в детстве, — сказал он. — Я был тогда гимназистом второго класса, — вы были проездом в Москве, у моей матушки...

— Помню, все помню, — говорила тетушка, опять собираясь прослезиться при воспоминании о покойнице.

— Хотя наше знакомство и было кратковременно, — продолжал дядя, — но... позвольте надеяться, что двери вашего дома не будут для меня затворены...

— Что он говорит! — в ужасе воскликнула тетя и даже руками всплеснула.

— Вы были так дружны с покойной матушкой и...

Дядя не договорил, заметив, что платок опять приложился к глазкам. Через минуту тетушка держала его за обе руки и торжественно говорила:

— Мой дом — ваш дом, когда вам угодно, в какое угодно время, всегда будем рады вас видеть.

Я уверен, что слова тетушки были искренни. Мы жили чрезвычайно уединенно, знакомых у нас было немного, и свежий человек, да еще такой как дядя, был для нас находкой.

Таким, образом неизбежные прелюдии знакомства были сыграны. Разговор перешел на менее официальную тему и наконец коснулся меня.

— Ведь вы так прелестно рисуете, — внезапно вспомнила тетушка. — Займитесь, пожалуйста, с ним, у него талант, и положительный талант.

Дядя пытливо глянул на меня.

— А ну-ка покажите, что вы там мажете, — сказал он.

Я конфузливо поднес ему только что несколько минут тому назад сочиненную композицию, с которой, как с крыши во время ливня, стекала вода.

— Зачем же дерево красное? — спросил он.

— Это закат, — объяснил я.

Дядя засмеялся.

К обеду мы уже были друзьями и сошлись на ты, а после обеда я, в порыве восторга, залез к нему на колени и,

несмотря ни на какие увещания, не хотел покинуть своего поста.

## II

Весь вечер дядя читал на память стихи, до которых моя тетя была страшная охотница. Она еще в пансионе списывала по мелкому транспаранту «Демона», сшив тетрадку в осьмушку почтового листа, и писала при этом «Демона» вперемежку, то через *Ъ*, то через *е*. Дядя знал на память чуть не всего Некрасова, с жаром читал «*На Волге*» и «*Парадный подъезд*», бывшие в то время самыми свежими новинками, читал кой-какие либеральные стишонки (это было тогда нечто неизбежное), печатавшиеся в зарубежных органах русской прессы, — и привел ими добрую тетушку в такой неистовый восторг, что должен был их записать тут же «на бумажку».

Когда он поздно вечером уехал от нас, оставив после себя синеватый туман прозрачного дыма, мы с тетей решили, что это прелестнейший человек в мире.

Бывать он у нас начал почти ежедневно. Меня просто нельзя было оторвать от него: я то и дело торчал у него на коленях, виснул на шее. Да и немудрено: он так хорошо рисовал жидов, черкесов, статских советников, турок, небывалых птиц и рыб, что только хохотать все время надо было. В сумерках он обыкновенно повествовал мне историю какую-нибудь, сказку... Порой привозил он картона, папки, красок, клеил огромную крепость, наделявал целый легион персидского войска с кизыл-башами в красных шароварах и дебель-башами в белых. Все это вырезалось, клеилось, дралось, погибало, — и в конце концов отправлялось в печку. Немудрено, что я в нем души не чаял. Да и не только мне с тетей, он и всем нашим немногим знакомым пришелся по нраву.

Особенно сошелся он с одним из них: с Пелеевым, бывшим сослуживцем моего отца, восторженным, несмотря на

его года, писавшим прелестные стихи, носившим седую красивую бороду и длинные, по плечам лежавшие волосы. Дядя встретил его с легким благоговением; он был знаком с его стихами и прозой. Они вместе читали, гуляли, разговаривали, спорили, — и Пелеев говаривал, что в этих спорах оживает перед ним былое время московского университета.

Однажды, за чаем, дядя вдруг заговорил по-персидски.

— Да вы разве восточные языки знаете? — удивился Пелеев.

Дядя рассказал, как он жил в Москве с персиянином-товарищем на квартире, и как последнего выселили за какое-то любовное похождение, чуть ли не водворили на его далекой отчизне.

— Если вы уже хорошо знаете языки, — сказал Пелеев, — то мой совет — поступать не в университет...

— А куда же?

— Есть в Петербурге одно учреждение... Если вы туда экзамен выдержите, — ваша будущность упрочена: года через три вы будете за границей при посольстве. Кроме того, я доставил бы вам хорошую протекцию через знаменитого Александра Касимовича...

Дядя так и замер от восторга.

— Александр Касимович! Вы с ним знакомы?

— Даже более того: чуть не приятели... Хотите, я вас ему представлю?

— Сделайте одолжение. Когда же?

— Да хоть завтра. Натягивайте фрак, и едем.

На этом и порешили. Впрочем, визит надо было на некоторое время отложить, так как фрак надо было еще сшить. Дядя принялся расспрашивать Пелеева об этом учреждении. Оказалось, что он чуть ли не всех ориенталистов наших знает, и со всеми обещал познакомить дядю.

— Только, чур, — прибавил он, — занимайтесь серьезно, я вас так и рекомендую.

— На этот счет будьте спокойны: лицом в грязь не ударим: я кроме того, что в гимназии древние языки проходил, по-турецки и арабски маракую.

Таким образом, путь, по которому намеревался идти дядя, был намечен.

### III

Пелеев сразу ввел дядю в тот кружок, о котором он мечтал еще в Москве. Приняли его в этом кружке весьма снисходительно; сам Александр Касимович, несмотря на то, что был весь погружен в свое сочинение «Баб и бабиды», отнесся к нему внимательно и даже подарил ему свою грамматику, хотя и сорок шестого года, но все еще хорошую. Дядя привел его в восторг, переведя *à livre ouvert*\* шиллеровский «Кубок» на какой-то восточный язык... Дядя уверял, что Александр Касимович подарил ему за это горшок с каким-то необычайным луковичным растением, которое он и привез в подарок тете. Но, несомненно, луковица была куплена в оранжерее, и Александр Касимович был несколько в ней неповинен.

Дядя почти жил у нас, заезжая домой только для того, чтобы переодеться или заняться какой-нибудь спешной работой. Нередко он ночевал у нас, особенно когда нам приходилось слишком поздно возвращаться из театра или какой-нибудь *partie de plaisir*\*\*, и ему предстояла перспектива слушать воркотню сонных дворников, горничных и квартирной хозяйки. Тогда ему стлали простыни на трипový диван в кабинете покойного мужа тети, и он мгновенно засыпал, обладая в совершенстве этим счастливым даром. Наутро он поднимался всегда раньше всех, когда, по выражению нашей судомойки, еще черти на кулачках не дрались. Усевшись у открытого окна, он перебрасывался фразами с проходившими мимо детьми ислама, во все горло вопившими «халат-халат!» и втихомолку предлагавшими проходящим «стары вещи продавать». Они ласково ки-

---

\* С листа.

\*\* Вечеринки.

вали головой дяде, оскаливали не только зубы, но даже десны и, помахивая рукой, осведомлялись о его здоровье. Иные приводили нарочно к нам татар из другого конца города, чтобы показать «бачку», который все по-ихнему разумеет. В разговоре с ними он практиковался в их языке, — они даже пользу ему нередко оказывали. Помню, однажды ранним утром зазвал он старого, толстого татарина с жирными, слезящимися глазками к нам в залу, усадил на диван и потребовал объяснения какого-то места в Коране. Долго тыкали они пальцами в массивную книгу, писанную задугу-наперед, переплетенную в необычайную кожу и снабженную четырьмя рисунками апостолов, настолько странными, что дядя уверял, что они изображены схематически. Впрочем, спорщики, очевидно, друг друга не поняли, докричались до того, что всех перебудили, поссорились, по-видимому, совершенно, но разошлись миролюбиво и потюмок грозной орды, продающий теперь жилетки, очень дружелюбно пожал руку будущему консулу. А будущий консул долго посмеивался себе в бороду, бормоча татарские слова и записывая их калямом в тетрадку, для чего надо было скорчиваться крючком, так как тетрадка должна была непременно лежать не на столе, а на колене.

Вскоре наши комнаты приняли весьма своеобразный вид: на всех столах появились арабские, персидские, турецкие газеты с удивительными виньетками и, вероятно, не менее удивительными фельетонами и передовыми статьями. На этажерке лежал Коран и роскошное издание арабских басен, свитки, писанные золотом, кармином, лазурью. Знакомые с изумлением вглядывались в крючки и завитушки этих грамот и просили дядю «прочесть» что-нибудь. Дядя важно разгибал фолиант и начинал читать знаменитую басню об льве и быках: «Асадун Марат хараджа аляу сау-рейни...» Даже я заразился его примером и стал твердить персидский алфавит: «элиф, бе, пе, те, се, джим, чим, хе»...

## IV

Мирно так, тихо мы жили. Меня дядя к гимназии готовил. Его репутация все укреплялась. Пелеев одобрительно покачивал головой и ласково на него посматривал. Казалось, житейские бури нашего мирного затишья во веки веков не коснутся; бывают такие полосы жизни, когда словно по рельсам катишься по намеченному пути, — тревоги, волнения утихают, моря, океаны где-то в стороне, а тут, и впереди, и сзади, — тишь, гладь, благодать Божья.

И, быть может, эта тишь и гладь долго бы продолжалась в нашем уголке, коли бы население его ограничивалось мной, да тетей. Но тут, кроме того, был дядя, — а в его года затишье не любят.

Однажды перед Рождеством приехала из провинции от своей дальней родственницы, гостившая у нас с год дочь Пелеева, стройная, высоконогая блондинка, с черными глубокими глазками и светлой густой косой до колен. Звали ее Марьей Алексеевной, или попросту Маней, и числилась она моей невестой, хотя и была лет на восемь старше меня. С невестой этой я, конечно, не церемонился, возился напропалую и смотрел на нее как на старшую сестру.

Первая встреча ее с дядей вышла немножко эксцентрична. Она бросилась меня догонять, я влетел в кабинет и кинулся за спину дяди, сидевшего на диване. Она, не удержавшись с разбега, очутилась у него на коленях. Она переконфузилась, покраснела, потом засмеялась и, приглаживая волосы, сказала: «Какой ты, — разве так можно!» Дядя тоже растерялся, тоже улыбнулся и встал с дивана.

— Это мой дядя, — отрекомендовал я его, — каких он мне солдат наделал, — у одних красные, у других — белые...

— Если не ошибаюсь, вы дочка Алексея Михайловича? — перебил меня дядя. — Вы очень на папашу похожи.

— Говорят, я больше похожа на мать, — возразила она, оправляясь от смущения. И потом, погода, прибавила:

— Мне вчера папаша много говорил о вас...

— Дурного, или хорошего?

— Хорошего, — наивно ответила она, прямо глядя ему в глаза.

— А вот мне ваш папаша ни разу не говорил, что у него дочь такая...

— Дурная? — подхватила Маня.

Дядя улыбнулся, и не менее наивно, чем она, ответил: «Нет, хорошая».

Она опять слегка покраснела.

— Папаша говорил мне, что вы много занимаетесь, а он любит тех, кто много работает.

Вошла тетя, на этом разговор и прекратился. Во весь вечер они не сказали более друг другу ни слова. Только я заметил, что дядя очень внимательно наблюдает из своего угла за Маней. На лице его появилось какое-то новое, незнакомое мне выражение. Когда я пытался влезть к нему на колени, он досадливо отодвинул меня от себя рукой и заметил: «Не надо — нехорошо». Маня тоже порой взглядывала на него, и тоже была сдержаннее обыкновенного. Когда она собралась уходить (за ней отец пришел) и надела уже шляпку, — она спросила у дяди, подавая ему руку:

— А вы хорошо говорите по-персидски?

— Да, — ответил он.

— Я ведь тоже говорю, но плохо... Чего вы удивляетесь? Спросите у меня что-нибудь.

Он предложил ей какой-то вопрос; она ответила довольно бойко. Дядя ее немножко поправил.

— Вы меня поучите, — сказала она, — я хочу свободно говорить...

Он обещался, и потом, когда они ушли, все волосы ерошил да ходил по комнате.

## V

Маня стала бывать у нас гораздо чаще, чем прежде. Пер-

сидскую фразеологию одолела она очень скоро и переговаривалась с дядей без труда. Скоро они до того свыклись меж собой, что видеть дядю без Мани и Маню без дяди было всем как-то неловко. То он у них, то она у нас. Он при ней и занимается, и работает. Она вышивает что-то шерстями; нужно ей цвета подобрать, она подзовет его — просит определить — который цвет первый, который второй. Он низко-низко наклонится к узору, так что чуть своей щекой ее щеки не касается, и долго перебирает листки. Нужно ей что-нибудь закупить в Гостином дворе, — опять кто же, кроме дяди, ее проводит и поможет купить. Если Маня не приедет почему-нибудь, — задержит ее что-нибудь, или просто не поздоровится, — дядя как потерянный ходит, то на часы посматривает, то в окно. Сядет рисовать — головки выходят на Маню похожи. Со мной не занимается: говорит — голова болит. Помечется, помечется из угла в угол, схватит шляпу и убежит бродить по улицам. А если он не зайдет в обычный час к нам, она надуется, сидит насупясь, и кроме «да» да «нет», ничего от нее не дождешься. Наконец раз случился факт, еще более выяснивший их отношения.

Мне подарил один дальний родственник чрезвычайно редкую и дорогую в то время игрушку: паровоз, нагревавшийся спиртом и бегавший по комнатам. Игрушка эта приводила меня своею прелестью в благоговейный трепет: я хранил ее, как зеницу ока и даже, ложась спать, ставил ее возле себя на ночной столик. Но игрушка эта была крайне невыгодна и, по выражению тетушки, просила если не есть, то пить. Действительно, на нее истреблялось такое количество спирта, что наконец мне вышел формальный приказ: «Запускать машину только при гостях». Я пользовался каждым посещением Мани, уверял, что она «гости», и «запускал машину». Все садились у круглого стола и восхищались быстро бегающим паровозцем, оставляющим за собой мокрую дорожку из капель охладившегося пара. Разумеется, восхищался один я, потому что постоянные зрители этой забавы, — Маня и дядя, — хотя говорили по-персидски, но я чутьем догадывался, что едва ли исключительной темой их разговора была моя игрушка.



Раз все были как-то особенно оживлены. Локомотив нагрелся, набрав пара, и медленно пополз вокруг. Тура два он совершал благополучно к вящему моему удовольствию, и вступил уже в третий круг, как вдруг случилось что-то ужасное... Вероятно, стол стоял неровно, центр окружности изменился, мой паровоз подъехал слишком близко к краю, свесился одним колесом и, прежде чем мы успели вскрикнуть, опрокинулся на Маню. Синий огонь вспыхнувшего спирта змеился, охватил ее платье, огоньками закапало на землю... Она вскочила, испуганно глянула на себя, хотела бежать, закричала. К счастью, дядя не потерялся, и сорвав с соседнего стола ковровую скатерть, плотно закутал вспыхнувшее платье.

Я стоял с открытым ртом, пораженный этой сценой. Маня в обмороке лежала на полу, а в двух шагах от нее, в догорающей луже валялся опрокинутый паровоз; поршни быстро работали и свободные колеса со страшной быстротой вертелись в воздухе, белый пар с шипением тонкой струйкой выбивался наружу... Я нагнулся, обжег себе паром руки, — и тут только понял, что чуть не случилось сейчас ужасной, трагической сцены.

Тети не было дома. Дядя, испуганный, побледневший, звал на помощь прислугу. «Доктора, — кричал он, — за доктором скорей!» Потом наклонился, поднял ее, перенес на диван, положил ей под голову подушку, начал расстегивать ей корсет, потом опомнился, велел это сделать горничной, а сам, сыскав шляпу, бросился вон. Я, перепуганный всем случившимся, тоже оделся и побежал вслед за ним по лестнице.

## VI

— Дядя, теперь куда ты? — робко спрашивал я, поймав уже на улице его за руку, и стараясь заглянуть ему в лицо.

— К доктору, доктору — куда же, — торопливо ответил он. — Едем, едем.

Мы сели на первого попавшегося извозчика, получившего на вопрос — куда ехать — ответ дяди: «Прямо и во весь дух!» — и помчались. У одного подъезда дядя почти на ходу выскочил с дрожек и, пробежав несколько ступенек кверху, рванул медный колокольчик в виде раковины, отчаянно заголосивший за дверь. Почти тотчас послышался стук шагов, и приплюснутая мордочка с бородавкой на подбородке высунулась нам навстречу.

— Не принимают! — прогнусила она на вопрос дяди, а он, оттеснив ее в сторону, как был в пальто и шапке, не обращая внимания на трех заливавшихся мосек, ринулся через залу и столовую на доносившийся издали голос. Я едва поспевал за ним, хлюпая грязными колошами по паркету. Мы разлетелись прямо в докторский кабинет, и трудно описать тот гам и хаос, который был внесен нашим появлением. Все кричали, вопили, грозили полицией, и кончилось тем, что дядя, чуть не под угрозой сейчас ехать к самым высокопоставленным особам, если доктор хоть минуту еще промедлит, насильно вытащил его из квартиры, посадил в пролетку, крепко обнял его рукой, а мне крикнул: «Ты дорогу знаешь, — иди домой!» — и помчался опять сломя голову.

Когда я пришел домой, тетя вместе с доктором хлопотали около Мани, которая, к счастью, ожогов не получила и была только перепугана. Доктор посоветовал ей принять успокоительных капель, вытер себе нос платком, от которого пахло не то горьким миндалем, не то какой-то плесенью и, выпив стакан кофе, уехал. Маня почти целый день провела у нас, почти не вставая с дивана, чувствуя слабость. Только к вечеру она бодрее стала.

Дядя съездил за ее отцом, — но тот оказался в Кронштадте. Дядя собрался ехать туда за ним, да сама Маня его уговорила этого не делать. Вообще, дядя был напуган гораздо больше всех нас, даже больше самой Мани. В той порывистости, с какой он привез доктора, ездил за лекарством, сквозила не только заботливость о своем ближнем...

Вечером я вошел в комнату, где была Маня... Александр Николаевич сидел возле нее. Две свечи под зеленым же-

лезным абажуром в медной оправе горели в другом углу, ярко освещая стол и оставляя в полутьме остальную комнату. В момент моего входа мне послышался поцелуй. Я остановился, прислушался: они молчат, она, бледная, сидит, откинувшись на спинку дивана, а он в креслах тут же. Я постоял, постоял у портьеры и так же тихо вышел, как и вошел: у нас были рыхлые, мягкие ковры...

И вдруг все после этого случая, словно сговорившись, перестали Маню звать моей невестой. Пелеев стал еще добродушнее поглядывать на дядю, оставлял его по целым вечерам с дочерью, отпускал их вместе гулять. Она стала совсем своей в нашем семействе. Без нее как-то неприветно было в комнатах, скучно, — точно озаряла их каким-нибудь особенным светом эта милая русая головка. Она так близко сошлась с дядей, что фамильярность, незаметно для них самих, часто даже проскальзывала при посторонних. Раза два мне удалось подметить «ты». Это «ты» произвело на меня сильное впечатление: я решил, что они жених с невестой. А тут еще матушка назвала как-то раз Маню в шутку консульшей. Это меня совсем укрепило в мнении, что дядя, по окончании курса, женится на ней.

## VII

Но почему же по окончании курса, а не теперь? Тут было много причин. Во-первых, дядя не хотел жениться, сидя на школьной скамье, а во-вторых, и сам Пелеев, очевидно, отдалял день свадьбы, может быть, испытывая прочность чувств, а может быть, желая, чтобы его зять имел вполне определенное положение. Маня была девушка более чем небогатая, а у дяди ничего не было. Он жил стипендией, да кой-какие субсидии получал от старшей сестры — его отец от прежнего состояния ничего не оставил.

Станный и дикий был человек его отец, Николай Максимович Тогаев. Он принадлежал к тому, теперь уже окончательно вымершему, типу помещиков, которые в молодом

сти служили в гвардии, вращались в отборнейших кружках столичного beau mond'a\*, нося титул завидного жениха, затем женились на какой-нибудь танцовщице, а не то и на горничной, получали за какую-нибудь скандальную историю приказание — выехать в двадцать четыре часа из столицы, отправлялись на покой в свои поместья, и там жили и тучнели год от году. Что мог вынести маленький Саша из домашней обстановки, глядя, как отец с достойными соседями устраивал облавы на домашних уток и индюшек, пустив их предварительно на две недели в парк, чтоб они «одичали», или охотился на ручного медведя, съевшего в его кабинете банку особенной помады и потому впавшего в немилость господина? У него должен был выработаться, по-видимому, суровый, грубый характер, — а на деле вышло совсем не так.

В Саше развивалась скромная, любящая натура. Бог весть, кем были заронены в его душу эти семена каких-то иных, смутных для него самого идеалов, — едва ли его матерью, существом придавленным, забитым. Семена эти ждали только тепла и света, — к счастью, явился и свет и тепло. Он попал под хорошие влияния.

Дела у Саши пошли хорошо, — блестящая память завоевала ему первое место в классах, хотя прилежанием он никогда не отличался, усидчивого труда не терпел и все схватывал каким-то «наитием», как выражался гимназический священник. Несмотря на «отличное» поведение, он от товарищей, впрочем, в шалостях не отставал, и даже раз собственноручно пустил из окна гимназической спальни ракету, подождав того времени, когда директор, возвращаясь поздно из гостей, подходил к своему подъезду. Когда огненная змейка с легким свистом взвилась кверху и лопнула, рассыпавшись звездами на темном небе, старик до того изумился этим явлением, что долго недвижно стоял на одном месте, рассуждая — «чтобы это такое могло быть». На другой день он даже «следствия» не производил, и когда в следующий четверг пошел на обычный jour

---

\* Бомонда (фр.).

fixe\* к приятелю своему Ивану Антоновичу, то к общему удивлению, более одного стакана вина за ужином не пил, отговариваясь тем, что «в голову ударяет».

## VIII

А пока Саша учился и переходил из класса в класс, отец его безумными празднествами и банкетами в прах разорял огромное имение, закладывая жемчуг, фамильные бриллианты, души. Он ждал, что вот-вот объявят волю и он не сегодня-завтра останется совсем нищим. Эта мысль, в связи с беспросыпными запоями, довела его до сумасшествия. Сперва он неистовствовал, чуть не изрубил шашкой жену, бил посуду и стекла, а кончил тем, что начал ежедневно рыться в плевальницах, отыскивая какие-то алмазы и прося со слезами, чтобы ему их отдали. Наконец, уже перед самым выходом Саши из гимназии, он однажды утром увидел на колышках забора, тянувшегося перед окнами, такую массу ворон, что принял это за дурное предзнаменование, пришел в себя, причастился с благоговением и к вечеру умер.

Не очень веселы были воспоминания дяди о детстве и юности. Их деревенский дом, вздымавшийся своей малиновой кровлей над купами зелени, весенние разливы многоводной реки, синей лентой бегущей перед окнами, отец, то буйствующий, то кротко-слезливый, роющийся в плевальницах, леса, степи, убогие деревеньки, заунывный мотив песни, что раздается над ними, — все это поблекло для него, осталось где-то позади, потускло, как небрежно хранимая картина в старой, обветшалой раме, где с трудом можно распознать на потемневшем фоне только лицо да руку, желтовато-грязными пятнами выступающие из-под потрепавшегося лака. Он не хотел этого возврата того, давно-прошлого времени его детства, — он не мог жить в той обсе-

---

\* Журфикс (*фр.*).

тановке, ему нужно было воздуха, — и возврат к этим ноющим песням, становым, исправникам казался ему невозможным, невыносимым.

В столицах в это время кипело оживление. Кто не помнит начала шестидесятых годов, это «благодатное время надежд»? Билась «безкровщина» с «кирсановщиной». Но дядя глянул на эту борьбу как на старое, с детства знакомое явление. «Боже, какие пустяки! — смеясь, говорил он Пелееву. — На днях торжественно студенты-медики драли и жгли портреты Тургенева, — за то, что он нейдет в уровень с веком!»

— Еще несколько месяцев, только несколько месяцев, — говорил он порой, — и я буду свободен, — я уеду отсюда.

— Куда? — спрашивала тетя.

— Прочь отсюда, — здесь мне тяжело. Куда-нибудь подальше... как можно подальше.

А Маня?

Он обходил этот вопрос молчанием. Однажды тетя спросила у Мани:

— Ты знаешь, Саша уезжает из России.

Она спокойно подняла глаза.

— Знаю.

— И... тебе не тяжело будет расстаться?

— Конечно тяжело... но что ж делать.

— Можно не расставаться...

— Нельзя... ведь папаша здесь служит.

— Ах, ты про отца! — догадалась тетя, — и больше этого разговора не возобновляла.

## IX

Хотя формального предложения дядя не делал, но тем не менее, все готовились к свадьбе, — ездили, закупали, шили. До экзаменов оставалось несколько недель. Дядя почти не занимался, — готовиться ему было нечего, — он все время ездил, хлопотал о своем назначении. «Куда-то

они уедут?» — постоянно спрашивала тетя.

Наконец, однажды вечером, когда мы все сидели за чаем, в комнату влетел дядя с сияющим, радостным лицом.

— Узнал, куда? — сразу спросили все.

— Добился, — запыхавшись ответил он, — и остановился...

— Куда же, куда?..

— В Рио-де-Жанейро.

Все, словно пораженные громом, молчали.

— В Южную Америку? — выговорил наконец Пелеев.

— Да...

Дядя поднялся к Мане и, не обращая внимания на вопросительно-недоумевающий взор отца, остановившийся на ней, спросил:

— Не побоишься, что далеко?..

Она колебалась, словно что соображая. Минуту спустя она была в его объятиях.

Мы долго не могли освоиться с новой мыслью, что они будут так далеко. Мысль о подобном перемещении совершенно не вяжется с нашей славянской натурой. Для англичанина, привыкшего чуть ли не путем естественного подбора к громадным расстояниям — быть сегодня здесь, а через месяц антиподом, — почти то же, что съесть кусок ростбифа — говорят, находятся чудачки, ежегодно переезжающие на дачу из Лондона в нашу Финляндию — но нам, русским, совершить путешествие в Америку кажется чем-то долженствующим произвести перелом в жизни.

Но, — Боже мой! — к какому перелому нельзя привыкнуть! То, что с первого взгляда казалось невозможным, начало мало-помалу принимать реальную оболочку. С «невозможной» мыслью начали осваиваться, находить ее менее ужасной, утешали себя тем, что не навеки же они уезжают, пройдет лет пять — они вернутся, дядя даже слово дал, что непременно вернется.

---

## Х

И вот они жених и невеста. Впереди — обеспеченная, самостоятельная жизнь, молодость, здоровье, любовь. «Знаешь, я не стою того, что дает мне судьба, — не раз говорил ей дядя. — Судьба всегда нелогична и непоследовательна... То есть логика-то у ней и есть, да только какая-то своя, особенная, для нас непонятная... Вот я за ее логику-то и боюсь».

В гостиную у нас стали появляться новые, небывалые книги: немецкие, французские и английские фолианты путешествий по Бразилии. Только и говорили, только и читали, что о Бразилии. Стали покупать вещи, приспособленные для морского переезда, пересматривали гравюры, эстампы.

Раз сидели мы все за огромной книгой описания Америки, наполненной превосходными гравюрами. Маня приходила в восторг от колоссальных деревьев, бесконечных пампасов, от городов и селений, имеющих какой-то свой, живописный, не европейский пошиб, без чудовищного шаблона симметрии и округленности. «Ах, — воскликнула она, — неужели же раньше осени мы этого не увидим?!»

— Там тогда будет весна, — заметил дядя, — да и много ли осталось: какие-нибудь четыре месяца.

Пелеев, ходивший из угла в угол по комнате, вдруг остановился.

— А ты знаешь, — обратился он к дочери, — что можно, не выходя из комнаты, увидеть Америку?

— На гравюре?

— Нет, не на гравюре.

— А как же?

— Да и не только Америку, а все, что угодно... Вы знаете, — обратился он к дяде, — что такое гашиш.

— Знаю... даже более того, — у меня есть его несколько унций.

— Вы пробовали его принимать?

— Нет, все собираюсь.

— Говорят, поразительное действие...



— Да, мой товарищ, персиянин, с которым я жил, иногда принимал его.

— Да что это такое? — спросила Маня.

— Наркотическое средство... вроде, как бы вам сказать, — вроде опиума, — возбуждает галлюцинации... Ну, и маленькое нервное расстройство... В самом деле, надо будет как-нибудь попробовать... Не хотите ли за компанию?

— Я не чувствую ни малейшего желания расстраивать нервы, да и вам не советую.

— А вы, Александр Николаевич, — не боитесь? — спросил Пелеев.

— Чего?

— Что на вас он дурно повлияет?

— Я знаю дозу приема.

— Отчего же вы непременно Америку увидите? — недоумевала Маня.

— Оттого, что постоянно думаю о ней... В самом деле, как-нибудь сеанс надо устроить.

Через несколько дней дядя принес к нам баночку с гашишем.

## XI

«Сеанс», как теперь помню, назначен был у нас вечером в субботу, и всех интересовал чрезвычайно. «Гашиш» — повторяли все новое слово. «Гашиш», что-то будет! Я уверял тетю, что дядя как примет, так сейчас с ним сделаются корчи и он начнет плясать. Тетя говорила, что я вздор болтаю, но сама сеансу не сочувствовала.

— Что за гашиш такой! — говорила она. — Весь век без гашиша прожили, а тут вдруг понадобился. Я и не слыхивала, чтобы кто его принимал! Одни пустяки.

Но тем не менее, к сеансу все приготовили, убавили в лампах огня, — точно спиритизмом собрались заниматься, — поставили на стол графин воды (этого непременно тре-

бовал дядя), велели никого не принимать, и все стали смотреть, что будет.

И вот дядя приготовил гашиш, поднес его к губам. «Пожелайте мне счастливой дороги», — проговорил он. На него тетя посмотрела, как на какого-нибудь выходца из гроба, и даже перекрестилась. Дядя опустил в кресло. Вокруг так было тихо, что слышался малейший шорох. Только часы слабо тикали на стене, да глухие шаги слышались наверху над нами.

— Как ты бледен, — испуганным шепотом сказала тетя.

Он засмеялся. «Полноте, — сказал он, — вам это кажется, я решительно ничего не чувствую».

Так прошло с полчаса. Наше внимание стало остывать, мы далеко уже не с прежним любопытством следили за каждым движением дяди. Даже скучно стало. Дяде тоже надоело это напряженное ожидание; он приготовил усиленную дозу и принял. На этот раз действие обнаружилось.

Он сильно покраснел, на лбу и висках выступил пот, глаза загорелись каким-то особенным блеском, в выражении лица появилась какая-то тоскливость, недовольство. Он вздрагивал, отводил в сторону прилипавшие неровным комком ко лбу пряди волос, и гладкими шагами прохаживался по комнате.

— Посмотри, какие у меня холодные и влажные руки, — сказал он Пелееву. Тот пощупал и отыскал пульсовую жилу.

— Эге, — проговорил он, — за сто перевалило.

— Пульс? — повторил машинально дядя. — Как это у Шекспира?

...Мой пульс, как твой, играет в стройном такте,  
Его мелодия здорова, как в твоём...

— А Америки еще не видишь? — спросил я.

— Какая Америка, — у меня в голове точно целая армия бьет зорю на барабанах. Если дело этим ограничится — стоило принимать эту гадость...

Он пошатнулся и, удержавшись за ручку дивана, бух-

нулся на него.

Маня налила ему стакан воды, положила туда лимона, сахара и поднесла ему. Он с жадностью выпил, взял ее за руку, засмеялся, притянул к себе и поцеловал в щеку; она вспыхнула и отскочила.

— Опять этот безобразный шум, — проговорил он, — точно выстрелы, крики, вопли, взрывы... хоть бы кончилось все это скорей...

Боль выражалась на его лице, он недвижно смотрел в одну точку, спокойно сидя на месте. Он закрыл глаза, точно спать ему захотелось.

— Вот, вот!.. — сказал он через несколько минут. — Началось... Ай, их сколько...

— Кого? — спросила тетя.

— Их... Кружатся, вьются, прыгают, светятся... Ах, как хорошо, хорошо мне...

Он замолчал. Мы все сидели, затаив дыхание.

— Как хорошо, — повторял он, — как хорошо!..

## XII

На следующий день дядя поднялся со страшной головной болью и полной неспособностью заниматься чем бы то ни было. Бледный, с воспаленными глазами, он как тень шатался из комнаты в комнату, вскоре опять завалился спать и только через день почувствовал себя бодрым и здоровым.

— Видел Америку? — спрашивали все у него.

Он улыбался и говорил, что видел.

— Расскажи...

Он пожимал плечами.

— Я не могу. Этого рассказать нельзя, — это надо видеть... Я помню, что все началось шумом, грохотом, гулом. Сперва мне казалось, что катятся кареты, тысячи карет, по какой-нибудь мостовой. Потом точно водопады стали реветь кругом, точно весь мир кричал... Тут был целый хаос зву-

ков... Потом все это смолкало, постепенно слабевало... Передо мной разостлалась какая-то дымчатая, туманная пелена, серая, но прозрачная. И вдруг на ней появилось яркое световое пятно, точно от луча, пропущенного через призму; зашевелилось, приняло форму какого-то живого существа, стало кривляться, метаться из стороны в сторону, ринулось куда-то вбок, исчезло... На месте его выросло что-то новое, закопошилось, — и потом целый ряд, целая вереница маленьких, блестящих, бесконтурных фигур завертелось вокруг... Откроешь глаза — ничего нет; закроешь и опять они, — только цвет их меняется...

Потом мне показалось, что я далеко где-то от земли, смотрю на нее со стороны, а земля такая маленькая, темная — комочек чего-то. Она крутится, вертится, и все на одном месте, к чему-то привязанная, к какому-то стеблю, на котором она сидит, а к ней тянется из пространства какой-то словно лист, огромный, бесформенный, охватывает ее со всех сторон, сжимает...

Потом я не знаю, как сидел, — открывши ли глаза, или закрывши — только комнаты я не видел... Я видел города, моря, горы, я был там. Я видел вечные льды, девственные леса. Я видел пустыню, настоящую африканскую пустыню. Я шел по ней, мне она не представлялась, я ее чувствовал всем своим телом, я чувствовал теплоту горячей ночи, — я слышал, как рычал лев, я видел, как играл свет луны на его шерсти... Я видел караваны, пирамиды... Я видел дворцы, цитадели, минареты... Все это сменялось в порядке одно другим... Едва всмотрюсь в одно, — выплывает другое... То народ, то какие-то колесницы, празднества, то — зубчатые стены, храмы... И это без конца, без конца...

Потом я видел Ньютона... Да, не смейтесь — Ньютона, живого Ньютона, — он пришел вот сюда, сел за этот стол и говорил со мной... Потом был Наполеон, Сократ... Потом женщины... Эти видения... таких женщин нет — это не рафаэлевские, не грезовские головки, — это нечто несравненно более грациозное, божественное... я не могу вам выразить, — этого передать нельзя.

— Я разговаривал с ними... Один дух мне сказал, что, если я еще сделаю несколько приемов, я увижу несравненно более чудные вещи... И я верю в это....

### ХІІІ

Прошло две недели; дядя словно в воду канул: не показывался ни у нас, ни у Пелеева. Мане прислал он лаконическую записку: «Держу экзамены, как освобожусь — тотчас приду». Но дни шли, он не приходил. «Тут что-то другое», — говорила Маня.

Я приехал к нему с Пелеевым; и оба мы в испуге остановились, когда нам навстречу поднялся дядя. Он был бледен, исхудал, глаза ввалились, под ними были темные круги, — не тот взгляд, не та улыбка.

— Что с вами? — воскликнул Пелеев.

— Нездоровится, — ответил он, сияясь улыбнуться.

— Отчего, что с вами было?..

— Я... я несколько раз принимал гашиш и в усиленных дозах...

— Надо доктора...

— Да я уж ездил... — Он как-то сомнительно тряхнул головой. — Поскорей бы отправиться к экзаменам, да скорей прочь отсюда, я чувствую, что морской воздух оживит меня... А то совсем развинтился, в голову ничего нейдет... Время кажется длинным, бесконечным, ползет черепахой, — все точно спит кругом, точно тиной подернулось... отвратительное чувство! Ну, да авось денька через три оправлюсь.

И точно — к экзаменам он стал как-то бодрее, живее, глаза засветились по-прежнему.

Наступили экзамены. Он хотел зайти после первого к нам и не зашел. Прошло несколько дней, — его нет. Съездили к нему, — дома тоже нет...

Наконец однажды он пришел. Все глаза уставились на него; он вошел, остановился среди залы и долгим-долгим,

бесконечно-любовным взглядом посмотрел на Маню.

— Саша, что ты! — кинулась она к нему.

Он задрожал, лицо его конвульсивно передернуло, он оттолкнул ее руку.

— Я, — прерывающимся голосом начал он, — я экзамена не выдержал... не мог выдержать...

— Отчего... что же?

— У меня... нет памяти... я забыл все!..

Он зашатался, закрыл руками лицо и зарыдал как ребенок...

## XIV

Все разлетелось, как дым. Воздушные замки, которые, казалось, начали воплощаться, рассыпались, как рассыпаются карточные домики от порыва дохнувшего на них ветра.

Страшным ударом отозвалось в нашем кружке это несчастье. Вся масса лингвистических знаний смешалась, перепуталась в его мозгу, сплотилась в одну безобразную, бессмысленную смесь чего-то... Что будет впереди? Возвратится ли к нему память, временное ли это затмение, — на это доктора не давали ответа.

Главное, — все случилось так внезапно, нежданно. В несколько дней, в какие-нибудь две недели, все, — и прошедшее, и будущее, и настоящее сводится на нуль, жизнь иссыкает, обрывается. И что еще хуже: этот человек, лишенный жизни, остается среди людей ни на что не нужным ходячим мертвецом, бременем и для себя, и для других. «Случай» уносил с собой его счастье, его жизнь, захватив по дороге часть другой, молодой жизни. Вот она, — логика судьбы, против которой восставал дядя...

О свадьбе замолкли. Раз Маня, подойдя к нему, тихо провела рукой по его волосам и спросила: «Когда же венчание, милый?», — он посмотрел на нее, скривил рот в улыбку и, схватив шляпу, выбежал из комнаты. «Тебе не нужен муж — идиот и ребенок», — ответил он ей в другой

раз.

Он сидел по целым дням в углу — бледный, желтый, глядя в пол, вяло, сонно шевелясь, как запоздалая муха в глубокою осень. Лениво потягивал он дым из своего мундштука, а все свои книги и манускрипты забросил. Маня плакала дни и ночи. Пелеев ходил мрачный; тетя охала; я притих, забился в свои грамматики... Вокруг давила всех тяжкая, свинцовая атмосфера.

Прошел месяц, другой. Дядя объявил, что он уезжает к сестре в Москву и действительно — вскоре уехал. Там он поступил писцом в какую-то палату на двадцать пять рублей жалованья, но и эту службу принужден был оставить...

Маня была неутешна.

## XV

Мелькнули годы моего пребывания в гимназии, мелькнули университетские годы, — и я отправился за границу.

Новые впечатления затемнили прежние — детские и юношеские; в числе их и образ дяди стал бледнеть, бледнеть, отходить на задний план, стушевываться.

Тетя, пока была жива, изредка писала мне о нем. Я знал, что он далеко не пользуется здоровьем, гашиш ли, другое ли что подломило его, — он существовал кой-какими уроками, бедствовал, писал к нам редко, словно стыдился своего положения.

В конце прошлого года я возвратился в Петербург. Дальняя родственница, поселившаяся после смерти тетушки в нашем доме, передала мне целую кипу писем, пришедших на ее имя. Между прочим, одно было от дяди. За него я принялся прежде всего. Оно было следующего содержания:

4-го ноября-187\* г.

Милая и дорогая сестра!

Давно я не писал к вам, давно собирался, но жизнь моя сложилась так плохо, так неутешительно, что право, не знаешь, что и сказать о себе. Все болезни да недостатки — грустная тема для письма. И теперь пишу к вам не потому, чтобы жизнь моя изменилась к лучшему, а потому, что мне предчувствуется, что это письмо будет прощальным. Весной я чувствовал себя лучше, имел два порядочных урока, так что можно было хоть немножко вздохнуть свободнее и жить кое-как; но пришла осень — и я опять расхворался, и мое здоровье так плохо, что уж что-то не рассчитываю и поправиться; опять появились страшные спазмы сердца и сильнейшее нервное расстройство. Обращался я на днях к специалисту этих болезней, Ч\*\*\*, он сказал, что берется вылечить меня совершенно электромагнетизмом, но спросил, имею ли я деньги, чтобы заплатить за курс лечения. Разумеется, я должен был ему дать отрицательный ответ, так как даже уроков моих не стало, и средства к жизни сделались чересчур ограничены.

Вот вам и финал... Не на такой я рассчитывал. Зачем я существовал? К чему такой конец? Должно быть, я исполнил какой-нибудь неисповедимый закон природы, изобразив известный процент чего-то...

Самым светлым воспоминанием до сих пор стоит передо мною образ Мани. Она мой ангел-хранитель, — воспоминания о ней и растрavляют мою рану, и поддерживают вместе с тем мою бодрость.

Прощайте, не поминайте лихом. Желаю вам всего лучшего в жизни. Павлуше (т. е. мне) кланяюсь, целую его, — хотелось бы взглянуть на него: уж большой он, я думаю. Простите, что так плохо написал: зрение ослабло. Если вздумаете написать — чем много меня порадуете — мой адрес: Москва, Смоленский бульвар, etc.

Искренне любящий вас брат  
А. Тогаев.

Письмо было послано почти за год до моего приезда. Жив ли он? Достал ли где-нибудь несчастную сотню руб-



лей на лечение?..

Я навел справки: он умер. Умер в городской больнице.

---

Вы, может быть, спросите: а что Маня? Она счастлива, отвечу я вам. Прошлой зимой я встретил ее в Мариинском театре, на чьем-то бенефисе. Она была с мужем, высоким, тощим, далеко еще не старым господином, с умным, плутоватым лицом и бегающими глазками. Она так весело, с такой милой улыбкой болтала с ним в антрактах, что, казалось, над ее все еще хорошенькой головкой никогда никаких бурь не проносилось. И не знаю, вспомнился ли ей в тот вечер, как и мне, убогий крест на далеком московском кладбище, весь зарытый снеговыми буграми, что намела вокруг него зимняя вьюга...

И впрочем, я видел ее недолго... Да и не для того же мы ходим в театр, чтобы думать о смерти...

## **ПРИЛОЖЕНИЯ**

Ю. Савич

# О ДЕЙСТВИИ ГАШИША НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ОРГАНИЗМ

Загадочность действия гашиша на человеческий организм, исторические воспоминания с ним связанные, ежедневно распространяющееся употребление его между жителями Востока, — все это делает гашиш предметом, возбуждающим истинный интерес и всеобщее любопытство; а меж тем наше общество мало и неосновательно знакомо с его действием: одни знают об нем из истории, и понятие о гашишинах, так тесно связанное с словом «*assassin*», напоминает исключительно о страшных убийствах, порожденных этим таинственным средством; другие знают об нем только по рассказам туристов, всегда малоопределятельным и, что хуже всего, всегда преувеличенным; многие сохранили об нем только недоверчивое воспоминание из «Монте-Кристо», многие, наконец, знают об нем только понаслышке, и слово гашиш для них почти тоже, что *aphrodisiacus*, или вообще связывается у них с понятием о средстве, доставляющем необыкновенно приятные ощущения. Я думаю, что этим достаточно оправдывается выбор предмета статьи моей, которая, вероятно, не оттолкнет читателей «Атенея» своим медицинским заглавием, уж потому, что дело идет о гашише, о котором рассказывают так различно и так много интересных вещей.

Гашиш есть арабское название восточного растения, известного в науке под именем *Cannabis indica* и очень сходного с нашей коноплей — *Cannabis sativa*. Этот вид конопли, распространенный без возделки в Индии и южной Азии, весьма вероятно, дал происхождение нашей европейской конопле, вывезенной если не из Китая, то из Индии, и принадлежащей к тому же семейству и роду. Различия между ними самые ничтожные, и особенно заметны в стебле, который имеет не более 2-3 футов вышины и от основания пускает ветви, противоположно на нем сидящие; на стебле незаметно волокон, которые мы видим на стебле европейской конопли, и запах ее гораздо слабее.

Самый распространенный на Востоке препарат гашиша состоит из *жирного экстракта*<sup>1</sup>, служащего основанием всех употребительных смесей, к которым всегда прибавляются пряности и даже иногда порошок шпанских мух,

с целью ограничить действие гашиша исключительно чувственной сферой. В Индии иногда прибавляют и опиум<sup>2</sup>, вероятно, для того, чтоб усилить его одуряющее действие. Из всех смесей наиболее известна распространенная между арабами под именем *Dawamesk'a*.

На Востоке употребляется гашиш для произведения приятного возбуждения нервной системы, возбуждения, особенно необходимого в жарком и однообразном климате, где вечное, гнетущее солнце, где времена года никогда не сменяются быстро и резко, где и способности человека не выходят из однообразной и ленивой деятельности, если не вызывать их из этой торпидности, от времени до времени, каким-нибудь особенным стимулом. Если и при нашем благоприятном климате, при всеобъемлющей деятельности, дающей пищу всем требованиям натуры человеческой, если и при нашем разнообразном, переменчивом, многостороннем образе жизни, мы чувствуем еще потребность в искусственных возбуждениях, — употребляем табак, кофей, чай и спиртные напитки, — то как же несчастному арабу, индийцу, турку не искать более сильных возбудителей в опиуме и гашише? Умеренное употребление этих средств могло бы быть для них даже полезно, но как отграничить эту пользу от употребления во зло? Если и мы так редко решаемся признать границей черту, которую указывает нам просвещенный рассудок, если и при самых выгодных условиях жизни нам так трудно бороться с нашими наклонностями и привычками, — какая ж остается гарантия за неразвитым, изнеженным и чувственным обитателем Востока?.. И это злоупотребление опиума и гашиша является только эпифеноменом того нравственного падения на Востоке, которое выражается многоразличнейшими фактами домашней и общественной жизни и представляется результатом действия многосложных причин, по большей части естественных; в этом — объяснение, но не оправдание тех печальных и унижительных результатов, устранение которых возможно было бы только при внешнем влиянии, только при участии европейцев, весьма необходимом в деле, которое касается общечеловеческих интересов.

Оставив прения о том, действительно ли Непентес Гомера, которым Елена угощает Телемака, состоял из индейской конопли, как то доказывал еще в начале нынешнего столетия Virey, — мы не имеем никаких верных указаний, чтобы свойства гашиша были известны древним. Надо думать, что на Востоке употребление этого средства сделалось всеобщим еще не так давно; еще во время крестовых походов оно было секретом немногих лиц, пользовавшихся им в интересах своего тщеславия и фанатизма. Augustin Thierry<sup>3</sup> рассказывает, что «под именем *гассасинов* (*hassassins*), или *ассассинов* (*assassins*), во время крестовых походов, слыли в Европе религиозные фанатики-мусульмане, которые, в надежде удостоиться рая, жертвовали собой для внезапного поражения врагов своей веры. Все вообще тогда верили, что в ущельях Ливанских обитало целое племя этих энтузиастов, под предводительством вождя, известного под именем “Старого горца” (*le Vieux de la Montagne*), по знаку которого вассалы его с восторгом сбегались на смерть. Слово *haschischî*, которым называли их по-арабски, происходило от названия одного опьяняющего растения, часто употребляемого ими как возбуждающее, или одуряющее средство. Понятно, что одно имя этих людей, которые внезапно поражали кинжалом, умерщвляли вождей среди их собственных солдат и весело умирали, лишь бы удар их верно был нанесен, должно было внушать большой ужас крестоносцам и пилигримам. Они приносили оттуда такое живое воспоминание о страшном слове *ассассинов*, что это слово, в то время еще новое, скоро сделалось известным, и самые нелепые рассказы об убийствах пользовались у многих доверием».

История говорит, что «Старый горец», с помощью гашиша, действовал на души тех молодых людей, которых он избирал орудиями своего фанатизма; мы постараемся доказать возможность самого баснословного влияния при помощи гашиша, а теперь скажем только, что мы имеем полное право верить тому, что гашишины, по знаку вождя, низвергали себя в пропасти, кидались в огонь, вонзали кинжал себе в сердце, или отправлялись, невзирая на пре-

пятствия и опасности, по указанию вождя своего, поражать вождей неприятельских в их собственных чертогах, среди толпы их бдительной стражи<sup>4</sup>. Чудесность этого влияния весьма упрощается по мере изучения действия гашиша на мозг; но пока мы выведем только одно заключение: в средние века употребление гашиша не было еще повсеместно распространено на Востоке и свойства его еще не везде и не всем были известны; но в наше время употребление его сделалось обычным между индийцами, арабами и турками; у первых он известен под именем *Banque*, у вторых — *hachisch*, у третьих — *Malach*.

Первые сколько-нибудь научные сведения о действии гашиша получены в Европе от английских врачей, поселившихся в Индии; потом, с появлением этого средства в европейских аптеках, врачи всех наций обратили на него серьезное внимание и стали испытывать его действие на здоровый и больной организм, и гашиш вскоре занял почетное место в ряду наркотических средств. Из французских врачей особенно Moreau (de Tours) способствовал научному определению наркотических свойств этого растения, имевши случай наблюдать его действие сперва на Востоке, а потом и в отечестве своем на самом себе и на других, врачах и не врачах, и, наконец, на больных-умалишенных в Бисетре. Результатом этих наблюдений явилось в 1845 году его прекрасное сочинение о гашише, единственное по полноте, верности наблюдений и легкости изложения. В нашей литературе, кроме некоторых отрывков, необстоятельных, необсужденных и преувеличенных, ничего еще нет о действии этого средства; и хотя Moreau принимает только личный опыт за критериум истины, и всех не испытавших действия гашиша устранил от суждения о нем<sup>5</sup>, я думаю, что обстоятельным описанием и примерами можно дать полное и ясное понятие о действии гашиша так точно, как и о действии всякого другого средства.

Начнем с того, что в наших аптеках очень редко встречается настоящий гашиш; по большей части, это спиртный экстракт индийской конопли, выросшей на европейской почве и чрез это утратившей большую часть своих нарко-

тических свойств. Оттого и мнения у нас так различны о действии этого средства и о количестве<sup>6</sup>, потребном для произведения *фантазии*. Фантазией в Леванте называют полное действие гашиша: термин этот, заметим, весьма определен, потому что главнейшее действие гашиша выражается чрезмерным возбуждением всех умственных и аффективных способностей; причем остается нетронутым только сознание, только ваше я, которое является обезоруженным, пассивным свидетелем самопроизвольной деятельности всех способностей ваших. Это пассивное состояние вашей личности с одной стороны, самопроизвольная и оттого беспорядочная деятельность различных способностей с другой стороны, дают уже довольно ясное понятие о том, чего можно ожидать от действия гашиша на мозг. Это ряд разнообразных снов *без сна*, это сны наяву. Весьма замечательно, что этот первый момент действия гашиша является почти без всяких предвестников: выражение лица, состояние зрачков, пульса, — все остается пока в нормальном состоянии, и даже внутреннее самоощущение изменяется вначале весьма редко; правда, иногда наступает смех без причины, но никак не вследствие веселого настроения, а в полном смысле слова без всякой причины, и иногда даже без всякого повода; ему можно было бы найти объяснение в *особенном состоянии нервов*, но это только *faux-fuyant*, который никак не делает его происхождения более понятным, и лучше сравнить его, без комментариев, со смехом истерической женщины во время приступа ее болезни. После этого вскоре наступает какое-то безотчетное, рассеянное состояние, какая-то *внутренняя пустота*, зависящая от начинающегося разброда мыслей, которые редуют все более и более, а между тем становятся все более и более ясными и резко-определятельными; пульс повышается, становится чаще, на лице выражается глубокая сосредоточенность, которая от времени до времени сменяется выражением радости, изумления и восторга. Тут, самые мимолетные впечатления, знакомые предметы и лица, одни за другими, приходят на память в самых ярких чертах и на один неуловимый миг, беспрерывно сменяясь все новыми, как



бы вытесняя друг друга; это движение становится все быстрее и быстрее, так что в течении 2-х, 3-х минут представления становятся положительно неуловимыми, но тем не менее очень ярко изображенными. Пульс в это время достигает почти вдруг 120-130 ударов в минуту, и внутреннее самоощущение изменяется весьма различно, смотря по обстоятельствам и лицам, но в большей части случаев состоит в ощущении как бы мельчайшего дрожания всех органических фибр, которое скоро переходит в онемение, сперва местами, а потом и повсеместно, так что испытатель *перестает чувствовать свое тело*. Понятно, как много средств приобретает чрез это воображение, особенно при одновременном насильственном возбуждении всех духовных способностей<sup>7</sup>; его перестает таким образом стеснять и уличать беспрерывно докучливая реальность, тем более, что притупляется совместно вкус и обоняние, а зрение и слух так заняты внутренним спектаклем, что им не до внешних впечатлений: вы смотрите и не видите, слушаете и не слышите, — видите и слышите иначе. Впрочем, зрение и слух всегда действуют согласно со степенью нашего внимания: и без гашиша можно быть с открытыми глазами и ничего не видеть, равно как и при действии гашиша являются от времени до времени светлые промежутки, когда внимание может остановиться на внешних предметах, и тогда впечатления верно передаются глазом и ухом; но эти впечатления остаются необсужденными и бывают или вовсе не замечены, или же принимают самые причудливые формы, если воображение усвоит их и приспособит к своим фантастическим представлениям. Особенно, говорят, слух хорошо проводит впечатления, потому что многими замечено сильное влияние музыки на гашишинов; но ухо играет в этом факте только пассивную роль, оно только проводит впечатления, а звуки воспринимаются центральным органом звуков, где и достигают до степени музыкального чувства. Существование этого органа не подлежит сомнению, хотя мы и не можем с верностью указать его места в мозгу; большим или меньшим развитием его определяется *музыкальный слух*; для *музыкального таланта* потребно

одновременное развитие чувства прекрасного и бесконечного; а если к этому еще прибавить хорошо развитые мыслительные способности, мы определим гениальность музыканта. При таком воззрении мы не ошибемся, если скажем, что музыка должна производить на гашишина впечатление более или менее сильное, смотря по степени развития и разработки центрального органа звуков и по соотношению его с другими органами мозга; и мы поостережемся сделать заключение, что слух его сделался острее обыкновенного: мы скажем, напротив, что ухо не потеряло только способности проводить впечатления, но в возбужденном состоянии находится, собственно, центральный орган звуков, равно как и другие органы различных способностей человека. Это влияние музыки может быть в таких обстоятельствах чрезвычайно сложно, именно потому, что получаемое впечатление чувствуется гораздо сильнее обыкновенного, а между тем, правильное обсуждение его невозможно; поэтому, при сильно затронутом одном каком-нибудь чувстве, затрагиваются одновременно и все другие гармонирующие с ним чувства, и на этот тон настраиваются все способности, вызывая из прошедшего черты, понятия и полные воспоминания, которые могут питать и поддерживать данное впечатление. Звуки погребальной музыки напомнят вам дорогие утраты, и горе забытое воскреснет в душе вашей с полной силой и проведет вас заново по всем степеням того убийственного чувства, с которым вы проводили вам близких людей; гармония торжественных гимнов преисполнит вас самых высоких, идеальных чувств, превратится, быть может, в воздушный хор невидимых духов и, унося вас все выше и выше, сольется в одно с гармонией миров, превратится в идею стройности и вечного порядка... А если в этот момент самого высокого поэтического созерцания вдруг грянет музыка веселого танца, вы сразу очнетесь и преобразитесь, вы с новым, оглушительным упоением понесетесь с кем попало в шумную, дикую пляску!

Понятие о пространстве и времени, так точно, как и во сне, исчезает, как и можно уже об этом догадываться à

ргіогі: эти понятия предполагают постоянное представление единицы меры, что становится от навыка незаметным для нас, хотя, естественно, требует ясного сознания и средств для внутреннего представления такой единицы, а это не согласно с теми беспорядками, которые производит в умственной сфере гашиш. Но, кроме того, подвижность идей становится гораздо значительнее, так что быстрота представлений может достигнуть до невероятного и уж поэтому находится в совершенном разладе с условной единицей меры. Таким образом Магомет, в начале одного из своих видений, перевернул кувшин с водой и успел осмотреть небо и землю со всеми их чудесами, прежде чем вода успела вылиться из сосуда<sup>8</sup>.

Итак, обставив вас самыми разнообразными картинками, показав вам мельком все, чем богата ваша память, перепутав понятия ваши, закружив до сумасшествия вам голову, если можно так выразиться, прихотливое воображение выносит вас из тела вашего, о котором вы потеряли всякое сознание, и доставляет вам в *среде, ничем не ограниченной*, какое-то высокое блаженство, трудно передаваемое, но которое приблизительно может быть выражено словами: я ничего не чувствую, кроме самого себя. Всякий гашишин непременно вам скажет, что были у него удивительные моменты, преисполненные счастья, но которого он выразить словами не может; мне кажется, что это именно то, что и мне так трудно перевести на слова; это — счастье свободы, это *избавление от цепей*... Лучшего сравнения я не могу придумать.

После этого момента скоро начинает пробуждаться чувствительность, и здесь наступает обыкновенно ряд уже чисто телесных ощущений, иногда чрезвычайно приятных. По большей части, действие гашиша заключается сном, глубоким и восстановительным, после которого испытатель чувствует себя бодрее и крепче, чем прежде, до опыта. Но должно заметить, что такое общее, разностороннее действие замечается весьма редко; обыкновенно же, среди разнообразнейших представлений, ясно рисуется одна какая-нибудь идея, которая сообщает свой характер бреду. Она

может быть явлением случайным и неожиданными, но так же точно может быть искусственным произведением внешних условий; всегда же она бывает результатом наисильнейшего впечатления, удержанного памятью, впечатления, которое может происходить от внутренних условий, так точно как и от внешних, как это мы увидим ниже.

Иллюзии и галлюцинации, о которых столько чудесно-го рассказывали испытатели гашиша, бывают, напротив, весьма редко, по крайней мере в полном их значении. Надо пояснить, что как иллюзии, так и галлюцинации бывают двоякого рода: во-первых, с одним только внутренним изображением предмета, во-вторых, с изображением его во внешности. *В первом случае* изображение предмета бывает только в мозгу; наступает оно при глубоком внутреннем сосредоточении, при полном самоуединении от внешнего мира; когда вследствие болезненного, или искусственного возбуждения мозга, внутренняя жизнь, состоящая из ощущений, побуждений и представлений предметов, вызванных памятью и сложенных во всевозможные формы воображением, достигает очень сильного напряжения. Если в это время, когда все внимание устремлено на эти внутренние представления и занято исключительно ими, получается какое-нибудь впечатление извне, оно ясно почувствуется, но не может быть, за недостатком средств, верно оценено и понято; однако внимание, тем не меньше, ищет настойчиво объяснения и находит его в сходных с полученным впечатлением чертах, которые подставляются на его место, *до воссоздания ясного внутреннего изображения*, ложно объясняющего данное впечатление. Это — неполная иллюзия, без представления во внешности. Если это изображение составилось из одних внутренних данных, без всякого повода извне, изображение называется неполной галлюцинацией, с одним психическим элементом. *Во втором случае* соединяются все условия настоящего видения: внутреннее изображение становится таким ясным, что достигает полной наглядности и не может уже иметь места только в мозгу, где, несмотря на ясность его изображения, оно имело только кажущийся характер дей-

ствительности; здесь оно уже переходит во внешность, общая предмету, действительно существующему, формы воображаемые, но с такой ясностью, что, несмотря на то, что внешние чувства верно передают впечатления при поверке предмета, сила внутреннего ложного убеждения извлекает из них только то, что нужно для оправдания ложной идеи. Тем не менее, такая иллюзия, равно как и галлюцинация, долго и без ясных промежутков удержаться не может: внешние чувства возмут свое, реальность вытеснит воображаемое представление. И для того, чтоб оно вкоренилось, надо, чтоб и в отправлении внешних чувств произошло изменение, надо, чтоб и внешние чувства доставляли сознанию данные, согласные с ложной идеей; или же, чтобы в мозгу произошло какое-нибудь материальное изменение условий восприимчивости мозга и составления понятий и мыслей, изменение, ограниченное сферой однородных впечатлений.

Итак, полных представлений, соединяющих в себе элемент *психический* и *сенсориаальный*, при наркотизме от гашиша почти никогда не бывает, и я наблюдал это явление только в одном случае; между тем как первый вид представлений, с одним элементом психическим, замечается постоянно, так что я не встречал еще исключений. Надо заметить, что мое мнение противоречит мнению Moreau<sup>9</sup> и Judee<sup>10</sup>, которые находят, что полные иллюзии и галлюцинации бывают постоянными явлениями при наркотизме от гашиша; вероятно, они принимали исключения за правило, или не довольно точно анализировали это явление во всех представлявшихся им случаях.

Но не только одни умственные способности приходят в возбужденное состояние и действием своим составляют бред гашишинов, но в равной мере и способности аффективные — *наклонности* и чувства, сила которых может, в свою очередь, достигнуть небывалых размеров. В таком случае они сообщают особенное направление мыслям и управляют всем этим внутренним движением, приспособляя его к своим потребностям и побуждениям. Поэтому степень ума, различие способностей, наклонностей и чувств, раз-

личие воспитания, образования и направления имеют самое ближайшее, непосредственное влияние на характер и свойства бреда; и это влияние таково, что, хорошо зная человека, можно заранее определить будущее содержание его бреда. Относительно темпераментов, — сангвинический, и особенно нервный, представляют условия, наиболее выгодные для действия гашиша; на холериков и холерико-сангвиников он действует несравненно сильнее, но легко производит у них возбуждение чрезмерно сильное и даже иногда опасное; на лимфатиков он действует слабо, и прием поэтому требуется больше обыкновенного. Обратимся теперь к наблюдениям. Я приведу только два из своих опытов, потому что их вполне будет достаточно для того, чтоб понять главную сущность действия гашиша на мозг.

*Опыт 1-й.* 1855 года, февраля 26, в состоянии наиболее нормальном, принял я hachisch-dawamesk, приготовления петербургского дрогиста L. G. Hardy<sup>11</sup>. Я ждал два часа — действия не было. Я лег в постель и погасил свечу, в полной уверенности, что и это — гашиш только по названию, как и все препараты его, прежде мною испытанные. Я заметил при этом необыкновенную подвижность мыслей; знакомые лица с выражением, наиболее характерным для каждого из них, беспрестанно являлись на ум, исчезали и заменялись новыми. Я не хотел придавать этому никакого значения, потому что это могло быть просто действием настроенного воображения, и уж начал засыпать; вдруг слышу, бьет час на стенных часах, и потянулся этот звук, и нет будто конца ему. В глазах зарябило, и я увидел себя в какой-то среде, наполненной поразительной смесью цветов, лиц, фигур, ярко освещенных и в непрерывном движении; но рассмотреть, определить, узнать, — не было возможности, потому что вся эта обстановка менялась так быстро, как в калейдоскопе. Потом слышу шум каскада; вода падает слева от меня, но я напрасно стараюсь увидеть ее; делаю над собой усилие... Вот уж я проснулся, а вода все шумит, тянется звук часов стенных и пестрит вокруг какая-то нескладная картина. Мне стало страшно; но я вспомнил о гашише и начал присматриваться и прислушиваться; по

мере того, как внимание напрягалось, картина бледнела, звук часов редел, шум каскада исчезал в отдалении. Я расхохотался; мне показалось необыкновенно смешным бессилие фантазии и непрочность иллюзии перед действием воли; я сделал самодовольное движение, но в то же мгновение заметил, что у меня нет тела, что я плыву в какой-то эфирной, прозрачной среде и так хорошо, так легко себя чувствую! Но вот поднимается буря и бросает меня во все стороны; у меня замирает дух... Призываю опять на помощь волю свою, прислушиваюсь и ясно слышу шум ветра; удваиваю внимание, и замечаю, что ветер шумит у меня в голове; еще усилие, и я уж мог объяснить себе этот шум приливом крови к голове; но едва явилось это объяснение, и я уж вижу, как бежит кровь широкими струями по жилам моим; ощупываю себе руки и ноги, — чувствительность в них так уменьшилась, как после умеренного вдыхания хлороформа; это какая-то отерплость, похожая на ту, которая замечается при нажатии нерва, например, в ноге, при неловком сидении. Я поднялся и зажег свечу. В голове была удивительная работа; мысль прыгала с предмета на предмет с такой быстротой, что мне становилось и смешно, и досадно; а между тем, беспрестанно приходил мне на память гашиш и мысль о том, что я должен проследить его действие. Я потушил свечу и улегся опять. Члены опять начали терпнуть, и опять, незаметно, потерял я сознание о теле своем. Видения были беспорядочные и все составлялись из отрывков мыслей, смотря по тому, какая из них выражалась яснее: драгоценный ли камень приходил мне на ум — и вот целые горы изумрудов и алмазов нарастали вдруг передо мной; они исчезли; на месте их остались огородные овощи, и скоро весь мир превратился в капусту. Дом вспоминался, — и сразу появлялись бесконечные города; замечал ли на мостовой где-нибудь камень-дикарь, и в миг один переменялась декорация, — уж всюду торчали дикие скалы; но вот на одной из них виднеется мох — и все зеленеет вокруг, и скоро весь мир покрылся газоном; цветок заметил на нем, и целый дождь цветов сыплется уже сверху, снизу и со всех сторон, и все вокруг меня превратилось в

букеты, букеты в кусты, кусты — в сады цветущие, и вот уже виднеются деревья баснословной толщины, и громадные леса покрыли весь земной шар. Это сочетание образов отличалось совершенной независимостью: все представления, однако, являлись не во внешности, но внутри меня, в мозгу моем, как и в нормальном состоянии, с той разницей, что движение их было необыкновенно быстро и совершенно произвольно, так что мое *я* являлось только посторонним зрителем. Что касается до *мышления* — оно тоже было чем-то самостоятельным и представлялось мне как бы источником чистого разума, откуда я мог забирать вполне удовлетворительные решения самых мудреных вопросов, — решения такие остроумные, такие быстрые, как бы они уже были заранее приготовлены и лежали только в запасе. Верность заключений моих была, конечно, только кажущаяся: но что замечательнее всего, так это то, что я тогда же сомневался в непреложности моих выводов, по-видимому, таких верных и положительных; например, мне казалось, что пульс мой бьет до того часто, что удары его сливаются, представляя род непрерывного дрожания, и я находил такое объяснение: гашиш возбуждает, усиливает сократительность всех мускулярных волокон; поэтому в артериях, кроме того сокращения, которое происходит от повторенных напоров крови, является еще отдельное независимое сокращение волокон фиброзной (средней) оболочки и оттого происходит ряд непрерывных, слитых дрожаний, наполняющих промежутки между пульсациями. Кажется, объяснение удовлетворительное, по крайней мере для гашишина; но я недоверчиво смотрел на него, и вместо его, с такой же независимостью, подставлялся вопрос: «Не ложно ли это объяснение и не зависит ли это обстоятельство скорее от того, что утрачено всякое понятие о времени?..»

Память, как и все умственные способности, была в возбужденном состоянии; я никогда не мог припоминать с такой легкостью, как в это время; никогда предметы не представлялись мне с такой ясностью, с такой мелочной отчетливостью, как тогда: но, так как все представления сменя-



лись ежеминутно и я не мог ни на чем остановить внимания своего, то при таких условиях помнить долго невозможно и в каждый следующий миг должен забываться миг предыдущий.

Мне хотелось пить, воды около меня не было, — я решился встать и позвать слугу; но расслабление тела моего было так для меня приятно, что я мог только с большим трудом справиться с этой восточной ленью. Я встал, но в тот же миг забыл об этом; надел туфли — забыл и это, халат — забыл и об нем; машинально перешел я через три комнаты, и с каждым следующим шагом забывал шаг предыдущий. Разбудил человека, велел принести воды, взглянул на часы мимоходом, — было третьего 25 минут. Возвратясь в спальню, разделся, лег в постель и совершенно забыл обо всем этом, так, как будто я и не вставал с постели. Опять начался какой-то бред, опять меня мучила жажда, опять я решился встать и позвать слугу и стал уже надевать туфли, как вдруг при этом вспомнил, что я уж это делал один раз, и ясно мне представилось, как надевал я халат, как проходил через комнаты, будил человека и проч. Мне стало страшно. Возможность действовать в бреду, без всякого сознания, показалась мне чем-то таким опасным, угрожающим, как бы я уж сделал какое-нибудь преступление; я с ужасом бросился в постель и спрятался под одеяло. Опять все вокруг меня замелькало, но вот появились и женские лица; бред стал принимать определенный характер и скоро весь перешел в ощущения, которые из местных не замедлили сделаться общими, и меня охватила такая чудесная, такая упоительная нега, какой в действительности никто не испытывал. Вскоре появление человека с водой напомнило мне опять в чрезвычайно неприятных чертах опасность моего самозабвения, так что это вдруг разогнало мой чад, и я стал желать одного — уснуть поскорее.

По временам мне казалось, что мозг мой растягивается, что череп тесен для него; по временам дыхание стеснялось и томило меня ощущение чего-то горячего и тяжело-го в груди. Я заснул после 5 часов утра и часов через 8 встал совершенно здоровым и бодрым.

Теперь перейдем к другому опыту, за который я едва не поплатился жизнью: это произошло оттого, что действие этого средства обыкновенно долго не приходит и, от нетерпения ли, от особенного ли настроения мыслей, всегда является недоверие к тому, что действие наступит. Вследствие такого странного недоверия, я в течение 3-х часов принял 60 гран (без малого золотник) очень хорошего спиртного экстракта, в достоинствах которого я сомневался только потому, что действие долго не наступало.

*Опыт 2-й.* Это было 30 июня, 1855 года. В час пополудни я проглотил последнюю пилюлю. В три четверти второго меня чрезвычайно рассмешило одно место в медицинской статье, которую читал я в ожидании, но, так как смех мой был чересчур продолжительный и притом малоосновательный, то тогда же мне пришла идея, что он зависит от начинающегося действия гашиша, и мысль о том, что я принял его слишком много, тогда же начала беспокоить меня. Но так как я перестал уже смеяться, а нового ничего заметно не было, то я совершенно успокоился и стал собираться спать. Между тем, надо было мне написать еще кое-что, и я сел в кресло за письменный стол; едва взялся за перо, как стал замечать быстро развивающееся действие гашиша. Я схватил карандаш и стал записывать свои ощущения. Я писал отрывками, полусловами, а иногда одной буквой надеялся выразить целую мысль. Так, было отмечено необыкновенно быстрое движение мыслей, прыгавших с предмета на предмет; я должен был гоняться за ними, между тем, ловить их было трудно, а поэтому и писать невозможно. Я смеялся без всякого повода, и смех этот все усиливался до тех пор, пока не переходил в какие-то конвульсивные болезненные движения груди, после чего наступало судорожное сжатие гортанной щели, припадки задушения, и вслед за этим смех превращался в рыдания; слезы всякий раз заключали этот неистовый хохот, и после них наступало спокойное, приятно-удовлетворенное состояние, так что я мог на несколько мгновений довольно отчетливо судить о своем внутреннем состоянии.

С самого начала действия гашиша у меня стала вкореняться мысль о том, что я отравился: эта мысль беспрерывно подтверждалась тем, что у меня часто появлялись подергивания в руках и ногах, а иногда сводило ручные пальцы, и мне казалось, что не замедлят наступить общие конвульсии, притом непременно тонические, так что ожидание столбняка сделалось пунктом моего умопомешательства. Меня мучила жажда, и во рту было сухое, горячее ощущение, а между тем, язык был влажен, так что это было только ложное ощущение, но тем не менее, очень томительное. В голове я чувствовал что-то очень странное: точно череп мой наполнен был кипящей жидкостью, так что я тогда же сравнил свою голову с котлом локомотива; а так как я по временам вскакивал из-за стола и бегал по комнате, стараясь движением разогнать все усиливающееся опьянение, то в это время идея о локомотиве на полном ходу вытесняла все другие мысли, и я изображал собой длинный ряд вагонов, наполненных пестрой толпой: костюмы, лица, разговоры пассажиров, смех, крик, гам, — все это я слышал и видел внутри самого себя. Когда я цеплялся за какую-нибудь мебель, все мои вагоны летели с треском в бездонную пропасть, а я приходил на минуту в себя, вспоминал об отравлении, подбегал к столу, вписывал по несколько слов и опять спешил на рельсы перевозить свою неутомонную публику из Петербурга в Москву и обратно.

По временам сжимались очень сильно челюсти, и мне казалось, что я скоро разжую и проглочу свои зубы. «Это начало столбняка, — думал я, — вот скоро наступит и общий столбняк, а за ним и смерть». От одной мысли о смерти меня бросало в дрожь, мне становилось холодно и страшно, и я спешил писать, чтоб никого не обвиняли в моей смерти, чтоб торопились подать мне помощь, дали бы рвотное, отворили кровь, и проч. Мысль о смерти всякий раз так освежала меня, что я очень здраво понимал опасность своего положения и возможность удалить ее рвотным; поэтому я несколько раз написал: «Рвотного!.. С кровью не спешить... Рвотного! рвотного!.. Скорей и побольше». Я писал эти распоряжения для того, чтоб обеспечить свое

положение; мне казалось, что я скоро упаду и не буду уж в состоянии говорить; а между тем я уж давно послал за фельдшером, который и не замедлил явиться. Я остановился перед ним, скрестивши руки на груди, величественный и грозный; не могу припомнить, по какому поводу я принял такую торжественную осанку, но она тогда же показалась мне самому такой смешной, что я не мог совладеть с собой и стал громко хохотать; чем дальше, тем утомительнее для меня становился смех этот; я стал захлебываться и, наконец, расплакался; тогда я объяснил ему полусловами, в чем дело, но мысли так редели, так быстро и так далеко отскакивали одна от другой, что решительно невозможно было соединить их в одну идею и передать ее словами; поэтому фразы были отрывчатые, выговаривались после долгих пауз, и это молчание среди речи состояло в труднейшей для меня работе: я ловил разрозненные мысли, соединял их насильственно в одно целое и спешил выговаривать полусловами. Кончить своего объяснения я не мог, указал ему на свои записки, а сам стал бегать по комнате. Фельдшер понял, что мне нужно дать рвотное и пошел за ним в больницу. Вскоре после его ухода, открывается дверь и входит человек мой; это меня взбесило, потому что я хотел скрыть от всех свое опьянение, которое могло сделаться предметом уездных сплетней. Я молчал, однако ж, и ходил взад и вперед по комнате, надеясь, что он скоро уйдет; но так как он остановился у дверей, точно часовой, то мне нетрудно было догадаться, что его поставил там фельдшер для того, чтоб побережь меня; это меня примирило с ним, и я перестал об нем думать.

Рвотное мне дали в половине третьего, а через 5 минут случился со иной припадок невыразимого ужаса; я иначе не могу назвать этого необыкновенного испуга, который произошел таким образом: бегая по комнате, я вдруг зашатался и чуть не упал; человек поспешил поддержать меня, но его прикосновение так испугало меня, так показалось мне угрожающим и опасным, что я закричал, что было мочи, с выражением самого ужасного отчаяния: точно я был на краю пропасти, в которую меня толкнули, и я, па-

дая, силился удержать равновесие; я скорчился весь, подскочил, замахал руками и ногами, а на лице у меня было столько ужаса, что оба человека в свою очередь перепугались не на шутку. Они старались меня успокоить, и их вкрадчивый голос скоро образумил меня. Я стал убеждать их не пугаться меня, готов был плакать и просил извинения за толчок, данный одному из них ногой в грудь во время моего испуга. Вслед за этим припадком я сильно ослабел, а так как я сначала еще объяснил людям, чтоб они не позволяли мне ни ложиться, ни садиться, ни долго стоять на одном месте, пока не сделается рвота, то они взяли меня под руки и стали водить по комнате; сперва я с трудом передвигал ноги, но скоро опять появилась прежняя энергия в мускулах, и я опять зашагал, как и прежде. Это был избыток сил, я чувствовал потребность издерживать их; мне казалось, что если я перестану бегать, то накопившийся излишек разразится в конвульсиях.

Внутреннее состояние мое было самое ужасное; мысль, что я отравился, что вот сейчас же наступят судороги, что меня всего перегнет назад, так что голова сойдется с пятками, что вслед за этим только наступит смерть, — эта мысль составляла основу моего бреда; однако и иные представления не оставляли меня, и одни сменялись другими. Но невозможно, да и бесполезно было бы рассказывать содержание всех этих кошмаров; это был полный комплект нескольких жизней, прожитых мною в несколько минут.

Рвота наступила в половине четвертого, и с нею вышло несколько еще не растворившихся пилюль. Что-то жгло меня во время рвоты по направлению пищевода, и мне казалось, что от натуг оборвалась вся слизистая оболочка желудка и пищевого горла.

В первые минуты после рвоты мне казалось, что весь яд удален и что я уже вне опасности; но сильнейшее ослабление тела, вслед за этим наступившее, дало опять прежнее направление бреду и с этих пор началась уже моя смертельная агония. О судорогах я более не думал, но чувствовал постепенное приближение смерти, по мере увеличивавшейся слабости. Я с трудом передвигал ноги, — люди

водили меня под руки; наконец, я решился покончить, потому что мне казалось, что дальнейшая борьба со смертью унижительна. Я велел посадить себя на стул. Умирающим, прерывистым голосом делал я поручения родным своим, но тяжелое чувство разлуки не дало мне окончить; несколько слез выкатилось из глаз, — я махнул рукой и замолчал. Люди, заметивши, что я опускаюсь всем туловищем вниз, уложили меня в постель. Тотчас же начали терпнуть и застывать ноги; чувствительность исчезала снизу вверх, и это онемение скоро перешло на грудь, потом и на руки. Я думал: «вот и смерть, недаром говорят, что она всегда начинается с ног... Вот и голова стынет... Вот только искра светится... Гаснет...» Все кончилось. Чувствительность и сознание были совершенно потеряны, так что я не мог бы в действительности умереть с большим убеждением в смерти.

Прошло не знаю сколько времени, и вот я очутился в раю Магомета. Ощущения, каких я никогда еще не испытывал, охватили все мое тело. Я забыл о том, что я умер, знал очень хорошо, что я лежу в постели, что это действие гашиша, и не мог достаточно надивиться небывалым ощущениям. Не могу сказать, чтобы воображение показывало мне какие-нибудь соблазнительные картины; если они и представлялись, то только мельком и, очевидно, были произведением, а не причиной моих ощущений. «Нет худа без добра», говорил я себе, вспоминая о недавних еще муках своих, и не сожалел о том, что принял гашиш, и готов был бы опять мучиться столько же за несколько минут такого блаженства. Но благодетельный сон уже начал овладевать упоенным телом моим, и я уснул счастливый и довольный.

Я оправился вполне только на четвертый день после этого опыта; на второй же день я спал почти без просыпа, а на третий еще оставалась несвязность мыслей.

Из этого наблюдения видно, что при сильном действии гашиша умопомешательство бывает полное, ясные же промежутки являются редко и на самое короткое время; духовная свобода уничтожается, и поэтому действия гашиша в

таком состоянии совершенно безотчетны и могут сделаться опасными, как для других, так и для принявшего, особенно под влиянием какой-нибудь недоброй идеи; тем более, что и самые мимолетные впечатления могут уже иметь самое сильное влияние на направление мыслей, чувств и страстей гашишина, которые легко достигают величайшего напряжения. — *Неожиданность* произведет уже здесь не испуг, но ужас, доходящий до отчаяния; малейшее подозрение становится убеждением, и самое легкое неудовольствие легко превращается в ненависть, а эта, в свою очередь, поднимает целую бурю самых опасных, истребительных инстинктов, особенно при темпераменте желчно-кровоном.

---

Представим себе теперь молодого человека, которому от времени до времени, без ведома его, дается порция гашиша при самой восхитительной обстановке, а между тем, хорошо рассчитанным, подготовительным воспитанием, вкореняется в нем непоколебимое убеждение в том, что только через слепое повиновение вождю своему он может достигнуть вечного пользования теми блаженствами, которых дает ему отведывать, от времени до времени, его повелитель, — и мы поймем всю сущность того таинственного влияния, которое «Старый Горец» имел на своих юных адептов-измаильтян. Конечно, без приличной подготовки, без этого искусственного вырабатывания наклонностей и убеждений, без определенного заранее направления, результаты получились бы совершенно другие. И мы можем сказать вместе с Troussseau<sup>12</sup>, что идеи, которые овладеют тем, кто принимает гашиш, находятся некоторым образом в наших руках: для этого достаточно сильно подействовать в известном смысле на его рассудок. Об этом различии действия говорят очень верно и Cabanis<sup>13</sup>, хотя и не касательно гашиша; но опиум, по отношению его к организму, имеет много сходного с гашишем, поэтому замечание Cabanis

будет здесь весьма уместно: «Хотя для султана, распростертого на софе, опийное опьянение сопровождается представлением самых приятных наслаждений, но в голове янычара или спаги то же самое опьянение порождает идеи истребления и крови».

Правильность этого замечания может быть всегда проверена между восточными гашишинами и китайскими курителями опиума<sup>14</sup>, которые имеют правилом удалять от себя все, что могло бы дать неприятное направление их фантазии, и окружают себя, напротив, только теми предметами и лицами, которые могут направить действие гашиша на их ближайшие интересы.

Итак, принимая в соображение темперамент, характер, свойство ума и наклонностей, убеждения, верования, степень нравственного развития того лица, которому хотим дать гашиш, и, наконец, не упуская из виду внешней обстановки и внутреннего его настроения во время опыта, мы с верностью можем предугадать, в каких чертах выразится бред и какое он примет направление. Понятно, что это задача нелегкая, и я настаиваю только на *возможности* ее решения.

Цель и границы этой статьи не позволяют нам войти в дальнейшие подробности об этом занимательном предмете; желающие могут обратиться к сочинению Могеац, которое, без сомнения, вполне удовлетворит их любознательности. Я же прибавлю только в заключение, что гашиш, поступивши в кровь, действует не на *сознательный центр*, который составляет духовную сущность человека и который остается нетронутым, а на *мозговые органы интеллектуальных и аффективных способностей человека*, возбуждая в высшей степени их нормальную деятельность. От этого приходят на память давно забытые и непрошенные предметы и лица, от этого одно за другим пробуждаются побуждения, наклонности, чувства и страсти, и их беспорядочное столкновение порождает бред бессвязный и сбивчивый, составленный из сплетения сходных понятий или же, напротив, осмысленный какой-нибудь односторонней идеей, которая сильнее других поразила внимание на-



ше и была произведением или внешних впечатлений, или выработалась действием внутренних побуждений, наклонностей, чувств и страстей; вокруг нее группируются *сами собой* сходные впечатления, черты и понятия, что и составляет однопредметность этого временного умственного расстройства. Вот в чем состоит вся таинственность и весь *психологический* интерес действия гашиша на мозг.

**1858 года, 22-го ноября.**

1. Он готовится кипячением листьев и цветков индийской конопли с водой, к которой прибавляют несколько коровьего свежего масла, имеющего свойство, общее всем жирным телам, растворять действующее начало гашиша; продолжая кипячение, выпаривают до густоты сиропа, процеживают сквозь холст, застуживают и получают таким образом масло зеленого цвета и тошнотного вкуса.

2. *V. Cabanis. Rapports du physique et du moral de l'homme. 8-me éd. Augmentée de notes par L. Peisse. P. 376.*

3. *Histoire de la conquête de l'Angleterre par les Normands. Bruxelles. 4-me édition. 1835. T. IV, p. 52-53.*

4. *Moreau (de Tours). Du hachisch et de l'aliénation mentale, études psychologiques. Paris. 1845. P. 10-12.*

5. *Moreau. L. c. P. 4.*

6. Спиртный экстракт считается лучшим препаратом гашиша, потому что Cannabin, действующее начало гашиша, легко растворяется в спирте и сохраняется без порчи в такой форме; между тем как масло жирного экстракта протухает и становится чрез это негодным для употребления. Конечно, лучшим препаратом гашиша был бы Cannabin (еще не точно определенное действующее начало), но добывание его очень трудно, да и притом у нас в России его нельзя найти даже в лабораториях. Количество хорошего экстракта, потребное для произведения полного действия, можно считать между 4-мя и 10-ю гранами. Но без опасно-

сти для жизни можно принимать его до 30 гран.

7. *Примечание.* Прошу читателя не заключить из этого, что в моих понятиях воображение есть отдельная способность, или даже нечто вроде отдельной личности: оно для меня и состоит именно в возбуждении всех или некоторых умственных способностей; оно есть только высшая степень свойства представления (*perceptio*) и познания (*conserptio*), общего всем этим способностям.

8. *Moreau.* L. с., p. 69.

9. L. с. P. 147-181.

10. *Gazette des hôpitaux.* 1855. № 70, p. 279.

11. Мне неизвестно, жирный ли экстракт или спиртный примешивает Hardy к своему *dawamesk'y*; но, судя по действию, если там и был спиртный экстракт, то не более 6 гран.

12. *Trousseau et Pidoux.* Traité de thérapeutique et de matière médicale. Paris. 1851. Quatrième édition. T. II. P. 100.

13. *Cabanis.* L. с. P. 375.

14. *Montfort.* Voyage en Chine. Page 84-86.

Н. Ланге

# О ДЕЙСТВИИ ГАШИША

(Психологическая заметка)

Работая над одним вопросом экспериментальной психологии, — я был поставлен в необходимость произвести некоторые точные психологические наблюдения над состоянием человека, отравленного гашишем. Если прием этого вещества не переходит известных границ, опыт не представляет, вообще говоря, никакой опасности.

Ввиду этого, вечером 21 января 1887 г., я принял 6 гран *extr. cannabis indicae*. То, что я испытал в течение следующих трех с половиной часов, представляет, кажется, довольно общий интерес. Поэтому я сообщу здесь: 1) ряд субъективных наблюдений, 2) объективные измерения и, в заключение, укажу на некоторые общие результаты опыта.

## **I. Субъективные наблюдения**

Первое ощущение, которое я испытал (минут через 5-10 после приема) было легкое и приятное одурение, сопровождаемое слабым головокружением. Органические ощущения здоровья и приятной теплоты сразу возросли. Делать небольшие движения было очень приятно, но направлять их к какой-нибудь определенной цели становилось уже трудно. Всякое такое действие требовало сознательного усилия, направленного как бы против овладевшего мною легкого сна. Активная мысль так ослабела, что я не мог сосчитать своего пульса. Сосредоточивать внимание на производившихся в это время определениях продолжительности двигательной реакции было совершенно невозможно: иннервационное напряжение или сразу разрешалось в движение, или вовсе не удавалось. Следовательно, первое, что ослабело, была воля и активная апперцепция (внимание). Напротив, пассивная восприимчивость ясно возрастала; краски окружающих предметов стали для меня ярче, их очертания — резче, воздушная перспектива как бы исчезла. Вместе с тем, не стесняемые сознательной волей, чувства и волнения совершенно произвольно ассоциировались с случайными внешними представлениями, не имеющими с ними

никакой реальной связи, наприм., приятное чувство физической истомы и теплоты странным образом присоединялось к различным зрительным представлениям, и потому внешние предметы и их очертания казались мне как-то особенно приятными, т. е. сознательная мысль уже так ослабела, что мало разделяла объективные причины от субъективных, — однако еще не исчезла совсем, ибо эти субъективные состояния еще не приобретали предметности в виде галлюцинаций.

При еще увеличившейся слабости воли аффекты стали являться совершенно произвольно и как бы играя. Без всякой причины хотелось смеяться. По временам я уже начинал впадать в бессознательное состояние. За эти моменты счет времени так ослабевал, что при возвращении сознания мне казалось иногда, будто прошло минут 10, между тем как промежутки бывали не больше 5 секунд.

Постепенно усиливаясь, субъективные ощущения начали преобладать над объективными. Образы и воспоминания хотя и могли быть вызваны только с большим трудом, но, раз вызванные, получали необыкновенную яркость. При закрытых глазах эти образы заставляли забывать о реальном мире. Вскоре они получили, почти исключительно, вид разнообразных геометрических фигур, и по своему блеску и цветам напоминали те фигуры, что мы видим, когда давим на глаз (фосфены). Наконец, эти образы стали так ярки, что были видны и при открытых глазах, *впереди* реальных предметов; нельзя сказать, что я не видел реальных предметов, но я забывал их за яркостью галлюцинаций. Эти зрительные галлюцинации не имели ничего подобного в следующих периодах сна. Кажется, они шли периодически: то летели с ужасной быстротой, то исчезали, оставляя сознание темноты. Воля над мыслями исчезла окончательно. Начинаясь «вихрь идей».

В этот момент явились, должно быть, тягостные органические ощущения. По крайней мере, на меня сразу и без всякого внешнего основания напал безотчетный страх. Я потерял всякую способность относиться к эксперименту по-прежнему. Он начинал казаться мне страшным. Внезапно

явилась мысль о смерти, о вечном безумии, об отраве. У меня выступил такой сильный пот, что я ощущал его рукой чрез сукно сюртука. Голова горела и болела. Руки стали холодны. Сердце билось так сильно, что я его слышал; дыхание спиралось и становилось почти невозможным.

К этому времени относится замечательное явление: с окончательным ослаблением воли и активной мысли ослабели *нравственные чувства*. Дело в том, что я чувствовал себя очень дурно и был положительно уверен в печальном исходе опыта; и несмотря на мысль о смерти, у меня явилось самое ничтожное тщеславие: я бредил — и напрягал все усилия, чтобы сказать в бреде что-нибудь умное или замечательное; я думал, что умираю — и меня мучило желание умереть красиво. Одним словом, с ослаблением воли и активной апперцепции, исчезла и нравственная сдерживающая сила; низшие эмоции — страха, желания жизни, тщеславия — сохранились и даже усилились, высшие же исчезли.

Но органические страдания все усиливались. Постепенно все мои мысли, все посторонние чувства исчезали, оставалась одна непрерывная боль, которую я не мог точно локализовать. Я чувствовал, что нахожусь в каком-то темном и бесконечном пространстве, наполненном моими же представлениями, или вернее, — моими страданиями. Эти образы быстро скакали один за другим, и каждый ударял мне в сердце. По спинному мозгу пробегали огненные струйки; желудок схватывали судороги.

По временам я приходил в себя, и мне казалось, что я возвращался из какого-то страшного странствования по загробной жизни; раз это сознание было особенно сильно: мне буквально показалось, что я воскрес, и радость реальной жизни охватила меня с такой силой, что я заплакал от счастья. Но эти моменты продолжались недолго. Ночь безумия опять охватывала меня, и я опять переносился в темный, бесконечный, холодный и неопределенный мир. Я часто старался удерживаться от этого, но активная мысль совершенно ослабела: я не мог ни на чем сосредоточиться. Только делая какое-нибудь произвольное движение рукой

или ногой, я мог на несколько секунд оставаться в действительном мире. Вероятная причина этого — теснейшая связь воли, направляющей движение, с активной апперцепцией.

Обессиленный физической, а особенно психической болью (должно быть подобной меланхолической), я стал, наконец, впадать в сон и забытьё. Движения мне были невыносимы. Меня уложили спать. Сколько времени продолжался сон, я не знал\*; я чувствовал полное утомление; прежние дикие галлюцинации пролетали только изредка и как бы вдали. Замечательно, что, несмотря на сон, я ясно слышал, как говорили в соседней комнате, но понимать слов не мог.

Вдруг я проснулся и все мгновенно изменилось, — я был опять совершенно здоровым и прежним человеком. Этот переход до такой степени удивителен, что я могу пояснить его только через сравнение. Когда Данте сошел до конца ада, мир внезапно для него перевернулся: звездное небо было не внизу ада, но над ним; когда я дошел до конца сна, мир внезапно для меня перевернулся: то, что казалось ужасной действительностью, стало ничтожной галлюцинацией, занявшей скромное место среди прочих воспоминаний о пережитом. И это внезапное умаление ужасного было так странно, что, проснувшись, я прежде всего рассмеялся.

Некоторая слабость мысли сохранилась еще и на следующий день.. Я не узнавал дома и улицы, где жил, забывал все вещи и т. под. Но все это было лишь следствием душевной усталости и той силы, с которой пережитое во время опыта вновь привлекало меня. Неприятного или безумного в этом состоянии не было уже ничего.

---

\* Как оказалось, всего 15 минут.

## II. Объективные наблюдения<sup>1</sup>

В 7 час. 30 мин. вечера Н. Л. принял 6 гран *cannabis indicae* в пилюлях.

7. 30. Пульс 94 в минуту. Ощущение утомления. Общее состояние — приятное.

7. 38. Определение времени реакции при внимании, обращенном на возможно быстрое произведение движения<sup>2</sup>. Хроноскоп показал следующие величины, которые мы сопоставляем с величинами, полученными при нормальном состоянии (незадолго до приема гашиша)<sup>3</sup>:

| Въ нормальномъ состояніи: |                                                                                     |      |                                                                                    |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 142 σ *)                  | Итого: число опы-<br>товъ 14;<br>средняя<br>аріом. 141;<br>среднее<br>уклоненіе 11. | 103  | Итого: число опы-<br>товъ 15;<br>средняя<br>аріом. 113;<br>среднее<br>уклоненіе 7. |
| 128                       |                                                                                     | 114  |                                                                                    |
| 28                        |                                                                                     | 105  |                                                                                    |
| 136                       |                                                                                     | 112  |                                                                                    |
| 153                       |                                                                                     | 121  |                                                                                    |
| 129                       |                                                                                     | 104  |                                                                                    |
| 142                       |                                                                                     | 126  |                                                                                    |
| 142                       |                                                                                     | 103  |                                                                                    |
| 163                       |                                                                                     | 124  |                                                                                    |
| 140                       |                                                                                     | 113  |                                                                                    |
| 174                       |                                                                                     | 106  |                                                                                    |
| 145                       |                                                                                     | 107  |                                                                                    |
| 148                       |                                                                                     | 109  |                                                                                    |
| 109                       |                                                                                     | 132  |                                                                                    |
|                           |                                                                                     | 1:12 |                                                                                    |

7. 40. Все предметы кажутся ближе; они рисуются резче, отчетливее, лучше.

7. 47. Ощущение увеличенной мышечной силы, в связи с общим повышением чувства жизненной энергии.



7. 48. Определяется время реакции, при внимании обращенном на возможно быстрое восприятие данного внешнего раздражения. Получены следующие величины:

|       |                   | То-же въ нормальномъ состояніи: |                   |
|-------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
| 254 σ |                   | 273                             |                   |
| 256   |                   | 178                             |                   |
| 142   |                   | 220                             |                   |
| 174   |                   | 194                             |                   |
| 170   | Итого: число опы- | 190                             | Итого: число опы- |
| 143   | товъ . . . 15     | 200                             | товъ . . . 16     |
| 254   | средняя           | 163                             | средняя           |
| 180   | ариомети-         | 227                             | ариомети-         |
| 217   | ческая . . 193    | 234                             | ческая . . 202    |
| 122   | среднее           | 205                             | среднее           |
| 142   | уклоненіе . 40    | 194                             | уклоненіе . 19    |
| 169   |                   | 188                             |                   |
| 193   |                   | 174                             |                   |
| 255   |                   | 212                             |                   |
| 233   |                   | 183                             |                   |
|       |                   | 199                             |                   |

7. 50. Чувство равновесия нарушено. Общее состояние продолжает быть приятным. Внешние предметы кажутся движущимися, именно благодаря чрезвычайно усилившейся восприимчивости к иннервационным ощущениям (ощущения движения глаза и головы не соответствуют более перемещению предметов в поле зрения).

7. 55. При закрытых глазах являются зрительные галлюцинации, а именно в виде простых геометрических фигур.

8. 3. Определяется длина волн чувственного внимания. Берется предельно малое зрительное впечатление (крайние полосы на вертящемся массоновском круге), и Н. Л. со вниманием фиксирует их, благодаря чему эти слабейшие ощущения являются усиленными. Регистрируя хроноскопом эти последовательные (мнимые) усиления, определяем длину волн внимания<sup>4</sup>:

|         |     |                                   |
|---------|-----|-----------------------------------|
| 3,6'    | 3,0 |                                   |
| 4,4     | 4,1 |                                   |
| 3,8     | 2,8 |                                   |
| 3,8     | 3,4 | Итого: число опытовъ . . . . . 15 |
| 4,2     | 2,5 | средняя арифметическая 3,4"       |
| 4,6     | 2,4 | среднее уклонение . . . 0,7"      |
| 2,7     | 3,0 |                                   |
| (пауза) | 2,3 |                                   |

8. 7. Начало чрезвычайно сильных галлюцинаций; они — геометрического вида.

8. 8. Опыты над так называемой «лестничной фигурой» Шнейдера (Treppenfigur)<sup>5</sup> дают следующую продолжительность для произвольной смены представлений:

|         |         |      |                         |
|---------|---------|------|-------------------------|
| 2,3"    | 1,4     | 1,0" |                         |
| 0,8     | 1,8     | 1,4  |                         |
| 2,2     | 1,4     | 1,6  |                         |
| 2,0     | 0,8     | 1,0  |                         |
| 2,4     | 0,8     | 1,8  |                         |
| 1,0     | 1,3     | 2,3  | Итого: число опытовъ 27 |
| 2,5     | 1,6     | 1,6  | средняя арифм. 1,5"     |
| 2,3     | 1,4     |      | среднее уклон. 0,5."    |
| (пауза) | 0,7     |      |                         |
|         | 2,3     |      |                         |
|         | 1,4     |      |                         |
|         | 0,9     |      |                         |
|         | (пауза) |      |                         |

8. 12. Наблюдения над быстротой смены активно воспринимаемых представлений<sup>6</sup> (объект — вышеупомянутый вращающийся круг Массона):

|         |         |      |                                                                                               |
|---------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,5"    | 2,4"    | 1,6" | Итого: число опытовъ 24;<br>средняя<br>ариомети-<br>ческая . . . 2,1"<br>ср. уклон. . . 0,5". |
| 4,0     | 2,2     | 1,1  |                                                                                               |
| 2,3     | 2,8     | 2,0  |                                                                                               |
| 2,3     | 1,1     | 2,3  |                                                                                               |
| 1,4     | 2,0     | 2,6  |                                                                                               |
| 3,0     | 1,8     | 1,9  |                                                                                               |
| 1,6     | 1,4     |      |                                                                                               |
| 2,3     | 1,7     |      |                                                                                               |
| 1,1     | 2,5     |      |                                                                                               |
| (пауза) | (пауза) |      |                                                                                               |

8. 15. Начало тягостных ощущений и общего недомогания. Производятся опыты для определения точности в оценке протяжений по движениям (руки). Н. Л. чертит, с закрытыми глазами, ряд линий, которые ему кажутся равными одному русскому дюйму, причем получают следующие величины:

|                     |                                                                                                                |   | Тоже въ нормальномъ состояніи: |                                                                                   |   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| 30,5 <sup>mm.</sup> | Итого: число<br>опытовъ 10<br>средняя<br>ариом. . 25,3 <sup>mm.</sup><br>средн.<br>уклон. . 2,1 <sup>mm.</sup> | } | 22,5 <sup>mm.</sup>            | Итого: число<br>опытовъ 10<br>средн.<br>ариом. . 23,3<br>средн.<br>уклон. . . 1,6 | } |
| 25,5                |                                                                                                                |   | 24,0                           |                                                                                   |   |
| 25,5                |                                                                                                                |   | 25,5                           |                                                                                   |   |
| 22,5                |                                                                                                                |   | 20,0                           |                                                                                   |   |
| 21,0                |                                                                                                                |   | 25,0                           |                                                                                   |   |
| 24,5                |                                                                                                                |   | 26,0                           |                                                                                   |   |
| 25,5                |                                                                                                                |   | 22,0                           |                                                                                   |   |
| 28,0                |                                                                                                                |   | 24,0                           |                                                                                   |   |
| 23,5                |                                                                                                                |   | 21,0                           |                                                                                   |   |
| 27,5                |                                                                                                                |   | 23,0                           |                                                                                   |   |

Действительная же длина русского дюйма 25,4<sup>mm.</sup>

8.23. Пульс 92. Голова очень горяча.

8. 25. Чрезвычайно обильное потоотделение.

8. 34. Временное улучшение общего состояния. Опыты над цветовым контрастом показывают его неизменным. После возобновления болезненного припадка Н. Л. заявляет, что в сравнении с тем, что он переживает, всякое занятие наукой вздор, да и вообще вся наука только суета, не имеет никакого серьезного значения. Это же Н. Л. повторяет и впоследствии, в связи с размышлениями о смерти. Нередко он многократно говорит то же самое. Всякий интерес к опыту у него исчез. Общее самочувствие все ухудшается.

8. 37. Колющие боли в спине и жгучие в животе; дыхание судорожное, со стонами. Общее тягостное состояние достигает своего *maximum'a*. После продолжительного молчания и как бы оупения начинается бред. Н. Л. жалуется то на физическую боль, то на невыносимо тягостное душевное состояние. Он требует, чтобы позвали врача и дали противоядие, многократно утверждает, что он не проживет еще и пяти минут; но не смерть ему страшна, а то, что он умрет сумасшедшим. Кроме того, во всем, что он говорит, сквозит самый отчаянный *Weltschmerz*. Каждые пять минут он спрашивает, сколько прошло времени: ему кажется, что с последнего такого вопроса протекли целые часы. Вместе с тем, он сознает, что все его слова и жесты действуют на присутствующих крайне удручающим образом и невольно возбуждают в них различные опасения; поэтому он неоднократно просит простить его. Замечательно, до какой степени ясно и обдуманно все, что он говорит, если выделить, конечно, болезненные преувеличения; двойственное действие гашиша (дикие фантазии наряду с трезвым самонаблюдением) на нем явственно видно. После приступа дикого бешенства и самых отчаянных речей:

в 10. 5, впадает Н. Л. в молчаливое состояние, которое в 10. 15, при полном утомлении, уступает место сну.

10. 30. Н. Л. уже просыпается, и притом со смехом и вообще в чрезвычайно приятном безболезненном состоянии. Галлюцинации совершенно исчезли; однако, сходя с лестницы (в темноте), Н. Л. чувствует большую неуверен-

ность и вообще психическое состояние его еще весьма ненормально, — он не узнает, наприм., дороги домой, а также своей квартиры.

### III. Выводы

Из предыдущих заметок мы можем, между прочим, сделать следующие выводы:

I. При отравлении гашишем явления *интеллектуальные*, вообще говоря, сохраняются неизменными, в то время как явления *аффективные* крайне усилены, а волевые — крайне ослаблены. Такова общая картина этого состояния. Но, поскольку познание определяется волей (явления активной апперцепции или внимания), она тоже бывает ослаблена и даже вовсе парализована, поскольку, далее, аффективная жизнь есть результат дисциплины воли (область сдерживающих нравственных чувств), чувствования являются не просто усиленными, но и их прежнее соподчинение по интенсивности (равновесие) нарушенным. Сохранение интеллектуальных явлений особенно резко заметно в полном сохранении памяти (пассивной), которая почти исчезает при отравлении опиумом. Кроме практического значения для самонаблюдений, эта особенность гашиша, сравнительно с опиумом, имеет и общий теоретический интерес. Почему психические состояния, вызванные гашишем, соединяются в сравнительно твердые ассоциации, а состояния вызванные опиумом — нет, это объяснить нелегко. Указание на то, что состояние человека, отравленного опиумом, весьма отлично от нормального состояния, и что его мысли и чувствования ассоциируются лишь с этой измененной личностью, а не с нормальной, не может объяснить указанного различия, ибо при отравлении гашишем изменение личности никак не меньше. Может быть это различие должно объяснять из характера менее определенных состояний, вызываемых опиумом, т. е. может быть, способность психических явлений к ассоциированию определяется не только их

сходством или смежностью, но и к. н. другими их свойствами, наприм. большей или меньшей ясностью и определенностью. Или может быть к непосредственной ассоциации способны не вообще все психические явления, а наприм. только познавательные (которые при гашише сохраняются), а прочие ассоциируются только *через них*? Все это вопросы, для разрешения которых мы не имеем пока никакого материала, ибо, к сожалению, психология ассоциации до сих пор была разрабатываема более в ширину, чем в глубину, под влиянием малонаучного догмата о том, что ассоциация есть простейшее, дальнейшим образом неразложимое явление.

2. Уже многократно психологи указывали на страшное явление, вызываемое гашишем, именно на так наз. «растяжение пространства и времени»: незначительные промежутки времени и небольшие расстояния кажутся для отравленного гашишем чудовищными, бесконечными. Из приведенных выше наблюдений видно однако, что это растяжение не имеет самостоятельного характера, но обусловлено, главным образом, растяжение времени — тягостными чувствованиями, а растяжение пространства — ощущениями усталости. Именно приведенные выше данные показывают, что растяжение времени имело место лишь во второй период опьянения, после появления тягостных ощущений, и отсутствовало, пока состояние было приятным. А относительно растяжения пространства мои опыты показывают, что при малых движениях, не сопряженных с утомлением (напр. при незначительных движениях кистью руки) растяжения пространства вовсе не наблюдается. Конечно, можно бы было возразить на это объяснение, что при обыкновенной усталости пространство не растягивается. Но, во-первых, такое категорическое утверждение вряд ли верно, наприм. для утомленного путника дорога, которую ему еще остается пройти, действительно кажется длиннее, чем она есть, а во-вторых, та вялость и апатичность, которые овладевают нами под влиянием гашиша, так необыкновенны и исключительны, что не могут быть исправлены предыдущими опытами. Замечательно также, что иллю-

зия при гашише распространяется, по-видимому, лишь на то пространство, которое мы должны пройти, а не на то, которое уже прошли, что также указывает не на какое-нибудь общее поражение органа восприятия пространства, а лишь на изменение *одного* из его масштабов.

3. Особенно замечательны явления, связанные с ослаблением воли. Это ослабление наступило почти мгновенно, именно около 8 час. 5 мин., вместе с появлением сильных галлюцинаций. Действительно, психометрические наблюдения, произведенные до этого момента, не показывают почти никакого отклонения от нормальных величин: реакционное время при внимании, обращенном на движение, было равно 137  $\sigma$  (нормальное же 112  $\sigma$ <sup>7</sup>, а при внимании, обращенном на восприятие 193 (нормальное же 202); далее, длина волны чувственного внимания в зрительных ощущениях оказалась равной 3, 4" и нормальная величина тоже 3, 4"<sup>8</sup>. Психометрические же данные, полученные после этого срока, показывают крайне сокращенные времена, т. е. наступление так сказать *судорожного* состояния механизма, управляющего вниманием и активным воспоминанием, причем, как всегда в подобных обстоятельствах, механизм, действуя самостоятельно и независимо от воли человека, исполняет свои функции быстрее и чаще, может быть точнее. Так опыты с *Treppenfigur* Шнейдера дали 1, 5", а нормальная продолжительность в этой смене 3, 5", опыты над вызовом воспоминаний дали 2, 1", а нормальная продолжительность — 3, 1". Замечательно, что притом среднее отклонение отнюдь не увеличилось, сравнительно с нормальным, а во втором ряде опытов даже несколько сократилось (нормальное 0, 6").

4. Гашиш замечательным образом повышает общий уровень аффектов, хотя болевая периферическая чувствительность бывает иногда даже понижена<sup>9</sup>. Принимая во внимание, что все болезненные явления в нашем случае исчезли так быстро и бесследно, что общее органическое состояние уже на следующий день было вполне нормальным, мы должны, кажется, предположить, что органическое расстройство и во время опыта было в действительности вовсе

не серьезно. Но такова была аффективная неустойчивость, что это незначительное расстройство казалось субъекту ужасным и в полном смысле слова невыносимым. Совершенно такое же несоответствие чувствований с их причинами констатируют и все другие наблюдатели<sup>10</sup>, и мне лично известны случаи, когда прием гашиша порождал такое радостное и веселое настроение, что человек из-за самой ничтожной причины хохотал без устали. Замечательно, что это усиление не ограничивается общим настроением и низшими чувствованиями, но распространяется и на высшие и специальные, наприм. эстетические эмоции. Я помню, что когда мне показали круг с секторами дополнительных цветов, я не мог от него оторваться, — так он казался мне прекрасен; то же самое указывают Рише и Карпентер относительно музыки и даже отдельных музыкальных тонов<sup>11</sup>. Такое совершенно *общее* действие гашиша на аффективную возбудимость служит, по-видимому, подтверждением физиологической теории чувствований, именно указывает на то, что чувствования суть своего рода центральные *ощущения*, локализованные, может быть в каком-нибудь общем мозговом центре. К сожалению, психология чувствований еще так мало разработана, их генетическая преемственность так мало выяснена, что сделать какие-нибудь более определенные выводы из приведенных выше данных в настоящее время вряд ли возможно.

На этом мы и закончим нашу заметку, выразив желание, чтобы такого рода наблюдения были произведены в более широком объеме. Вряд ли возможно сомневаться, что систематическое производство таких экспериментов и их осторожное толкование может дать целый ряд важных психологических данных, и притом в тех высших областях, которые до сих пор почти не поддаются изучению помощью обыкновенных методов экспериментальной психологии.

**Н. Ланге**



1. Эти объективные наблюдения произвели: бывший ассистент проф. Вундта D-г Ludwig Lange и D-г O. Kulpe. Сюда входят и субъективные замечания, записанные ими с моих слов *во время самого опыта*.

2. Из исследования, произведенного Людвигом Ланге и мною, обнаружилось, что продолжительность двигательной реакции зависит от того, на что экспериментируемый субъект обращает свое внимание: на то ли, чтобы произвести движение, или на то, чтобы воспринять данное внешнее раздражение. В первом случае время реакции значительно меньше, чем во втором. Этим обстоятельством должно объяснять, кроме прочего, и различия в величинах, даваемых разными экспериментаторами. О значении этих наблюдений и о методе их произведения см. *Philos. Studien*, V.

3. Через  $\sigma$  мы означаем (по примеру Кателля) одну тысячную секунды.

4. О волнах внимания и способе их определения см. мои «Beiträge zur Theorie d. sinnl. Aufmerksamkeit» (*Philos. Studien*, IV), а также изложение этой работы у Вундта в третьем издании «Физиологической психологии» (т. II, стр. 243, 253 и след.).

5. Лестничная фигура Шнейдера (она дана в «Физ. псих.» Вундта) есть перспективное изображение материальных углов, которое может быть понято и как выпуклое, и как вогнутое. Наблюдая эту фигуру некоторое время, мы замечаем, что каждое из этих истолкований ее неизбежно и произвольно вытесняется в нашем сознании другим. Так как эти истолкования обусловлены живостью того или другого из соответственных образов воспоминания, то указанная смена является, косвенным образом, мерилom быстроты в смене воспоминаний, т. е. мерилom быстроты произвольной смены представлений, когда их выбор ограничен двумя.

6. В приведенной выше моей работе (Beitrage etc.) я старался доказать, что активное чувственное внимание, поскольку оно усиливает любое из внешних ощущений, есть *ложный* процесс и состоит в суммировании или ассимиляции реального ощущения (которое мы, очевидно, усиливать не можем) с произвольно вызываемым в сознании соответственным образом воспоминанием, причем эта сумма, конечно, будет иметь большую устойчивость и интенсивность, чем одно реальное ощущение; от этого и зависит *кажущееся* усиление реального ощущения, наблюдаемого нами с так называемым вниманием. Так как чувственное вни-

мание непостоянно, но имеет колебания (волны), то, очевидно, такие же колебания должны быть свойственны и его истинной причине, т. е. воспоминаемым образам; иначе говоря, стараясь вновь вызвать в сознании какое-нибудь прежнее представление, мы лишь на короткое время можем сообщить ему значительную интенсивность. И действительно, такие колебания воспоминаний были уже давно замечены, наприм. Фехнером: каждое воспоминание на мгновение становится ясным, затем быстро бледнеет и требует нового усилия, чтобы быть вызвано. По моим многочисленным наблюдениям, эта периодичность, при вызове образов воспоминания (наприм. полос на круге Массона), совершенно соответствует периодичности чувственного внимания при тех же объектах.

7. Эта, впрочем и сама по себе незначительная, разница в 29 тысячных секунд объясняется, очевидно, не вполне удачным рядом наблюдений, как то показывает и чрезмерно большое среднее отклонение (14  $\sigma$ , вместо нормальных 7,5  $\sigma$ ).

8. Эти и следующие нормальные величины взяты из моей цитированной выше работы (Philos. Stud.. IV, стр. 404).

9. *Нотнагель и Россбах*: «Руководство к фармакологии». Русск. пер. д-ра мед. Иванова, стр. 993.

10. «Я помню однажды, — говорит *Рише* (“Сомнамбулизм, демонизм и яды интеллекта”. Русск. пер., стр. 452), — когда один из моих друзей принял гашиша, я хотел было, чтобы испытать степень его чувствительности, уколоть его слегка булавкой; самый вид этой булавки привел его в неописанный ужас. Он бросился бежать с воплями, как будто я хотел серьезно ранить его, потом упал передо мною на колени, умоляя меня, во имя нашей дружбы и всего святого, не подвергать его этой ужасной муке; выражая свой ужас и мольбы, он прибегал к таким трагическим речам и жестам, что трудно было удержаться от смеха».

11. *Рише*, *ibid.*, стр. 460. *Карпентер*: Физиология ума. Т. II; русск. пер. 196 и след. Ср. Т. Moreau: «Du hachich et de aliénation mentale”. Etude psychologique.

## Примечания

Эпиграф к сборнику взят из стихотворения И. Северянина (1887-1941) «Гашиш Нефтис» (1913).

Орфография и пунктуация всех публикуемых текстов приближены к современным нормам.

Все иллюстрации к «Гашишу» Ф. Леммермауэра, за исключением иллюстрации на с. 155, принадлежат Г. Зибену и взяты из первого немецкого издания книги (1898). Все прочие иллюстрации и заставки принадлежат М. Блейну и взяты из кн. Verlaine P. *Hashish and Incense* ([New York], 1929).

А. Дюма. Из романа «Граф Монте-Кристо»

Публикуется по изд.: Дюма А. *Собрание сочинений в двенадцати томах. Том восьмой: Граф Монте-Кристо. Роман. Части 1, 2, 3, 4* (М., 1979). Пер. Л. Олавской и В. Строева.

Ж. де Нерваль. Гашиш

Отрывок представляет собой введение к новелле «История халифа Хакима» (1847), вошедшей позднее в кн. Путешествие на Восток (1851). Пер. М. Таймановой.

Т. Готье. Клуб гашишистов

Впервые: *Revue des Deux Mondes*, 1846, февраль. Публикуется по изд.: Т. Готье. *Клуб гашишистов: Рассказы* (М., 1916). Пер. Л. Перхуровой.

«Клуб гашишистов», собиравшийся в отеле Пимодан – особняке XVII в. на острове Сен-Луи в Париже – возник в 1844 и просуще-

ствовал до 1849 г. В клуб, помимо Готье, входили Ш. Бодлер, В. Гюго, Э. Делакруа, Ж. де Нерваль, А. Дюма, О. Бальзак, д-р Ж. Море де Тур и др. Следует отметить, что не все члены клуба с энтузиазмом относились к употреблению гашиша (см. ниже эссе Ш. Бодлера) и что рассказ Готье является в такой же мере истинным описанием «заседания» клуба и воздействия гашиша, в какой и иронической фантазмагорией. Нижеследующие примечания взяты из изд.: Нерваль Ж. де. *Два актера на одну роль: Новеллы* (М., 1991) и принадлежат С. Зенкину.

С. 25. *Лозен* Антонен Номпар де Комон, герцог де (1633–1723) — придворный Людовика XIV, прославившийся своими громкими интригами.

С. 25. *Скалькен* Готфрид (1643–1706) — голландский художник, известный умелым использованием световых эффектов в интерьере.

С. 26. *Египетская химера, во вкусе Лебрена, с сидящим на ней амуром...* — В классицистической живописи Шарля Лебрена (1619–1690) широко используется аллегория.

С. 26. *Лемуан* Франсуа (1668–1737) — художник, выполнял стенные росписи.

С. 27. *Перед буфетом стоял доктор...* — Имеется в виду Жак-Жозеф Моро де Тур (1804–1884), известный медик, специально исследовавший действие наркотиков на человека.

С. 28. *Гаммер* — Йозеф фон Гаммер-Рургшталь (1774–1856), немецкий ориенталист, выпустивший в 1818 г. «Историю ордена ассасинов» (франц. перевод — 1833).

С. 31. *Давкус Карота из «Золотого горшка»* — такой персонаж («король овощей») фигурирует не в «Золотом горшке», а в другой сказке Э.-Т.-А. Гофмана — «Королевская невеста» (1821).

С. 31. *...корни мандрагоры...* — Это растение, с которым традиционно связывалось много магических поверий, не раз встречается в фантастических новеллах романтиков («Изабелла Египетская» А. фон Арнима и т. д.).

С. 32. *Фантазия* — этим словом (в оригинале — по-итальянски) на Востоке, как писал Ж.-Ж. Моро де Тур, обозначают состояние эйфории, наступающее после приема гашиша.

С. 34. ...как в «Вальпургиевой ночи» Гете — Имеется в виду эпизод Вальпургиевой ночи в первой части «Фауста».

С. 34. *Шикар* — карнавальный персонаж, отплясывающий гротескные танцы.

С. 34. ...Опера времен владычества Мюзара... — Композитор и дирижер Филипп Мюзар (1793–1859) писал и исполнял танцевальную музыку для балов-маскарадов, которые устраивались, в частности, в зале парижской Оперы.

С. 34. ...великолепной тупостью Одри, хриплым вздором Алкида Тузе, самоуверенной глупостью Арналя, обезьяньими гримасами Равеля... — Перечисляются известные французские комические актеры XIX века.

С. 34. Домье Оноре (1808–1879) и Гаварни (Сюльпис-Гийом Шевалье, 1804–1866) — художники-карикатуристы.

С. 35. «Волшебный стрелок» — опера К.-М. фон Вебера (1821).

С. 36. Колоссальный фрибурский орган — знаменитый орган в готической церкви св. Николая в швейцарском городе Фрибуре.

С. 36. Фелисьен Давид (1810–1876) — французский композитор, автор музыки на восточные сюжеты.

С. 36. Пилле Ипполит (1610–1663) и Ватель (ум. 1671) — дворецкие Людовика XIV и принца Конде, устроители придворных празднеств.

С. 37. ...призраки, смущавшие святого Антония... — Имеется в виду распространенное предание об искушении святого Антония в пустыне.

С. 37. ...дочь Ладона, преследуемую Паном — Эпизод из «Метаморфоз» Овидия: нимфа Дафна, дочь реки Ладон, спасаясь от прес-

ледования бога Аполлона (а не Пана), превращена по ее мольбе в зеленый лавр.

С. 39. ...как это сделал Пэк с Боттомом... — Эпизод из комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь» (1596): проказливый эльф Пэк внушает царице эльфов Титании любовь к простоватому ремесленнику Боттому (в переводе Т. Щепкиной-Куперник — Основе), которого он увенчал ослиной головой,

С. 39. ...как голубой бог Шива — Согласно индийскому мифу, бог Шива проглотил яд, от которого должен был погибнуть мир, и от этого его горло посинело.

С. 40. *Tread-mill* (англ.) — буквально колесо машины, которое должен вращать каторжник; здесь в переносном смысле — как мучительные и бесплодные усилия.

С. 40. ...как Дафну в Тюильри — Имеется в виду скульптурная группа работы Никола Кусту «Аполлон, преследующий Дафну» (1714) в парижском саду Тюильри.

С. 40. ...как околдованные принцы из «Тысячи и одной ночи» — См. в «Сказках тысячи и одной ночи» «Рассказ заколдованного юноши» (ночи 7-9).

С. 40. *Башня Лилак* — Это сооружение несколько раз упоминается в книгах Готье; никаких подробностей о нем установить не удалось.

С. 41. *Пиранези* Джованни Баттиста (1720–1778) — итальянский гравер, чьи «архитектурные фантазии» вызывали большой интерес в эпоху романтизма.

С. 42. ...в котором я узнал одного художника — Это художник Фернан Буассар, знакомый Готье; на его квартире и происходили «сеансы» гашишистов.

С. 43. ...Давидову арфу заменит рояль Эрара — Подразумевается библейский эпизод (Первая книга Самуила, XVI, 23), где юный Давид своей музыкой утешает страдания царя Саула, мучимого злым духом.

С. 43. ...словно офицеры после погребения Мальбрука — Реми-нисценция из народной песенки «Мальбрук в поход собрался». В песенке, в частности, поется: «Господин де Мальбрук умер, умер и погребен... Я видел, как четыре офицера провожали его в могилу» и т. д.

### Ш. Бодлер. Поэма гашиша

Публикуется по изд.: Бодлер Ш. *Искания рая* (СПб., 1908). Пер. В. Лихтенштадта.

«Поэма гашиша» — первая часть книги Бодлера *Les Paradis Artificiels: Opium et Haschisch* (1860). В нашей публ. также приведено открывающее кн. «Искусственный рай» посвящение.

### Ф. Леммермауэр. Гашиш

Публикуется по изд.: *Гашиш: Зелье Востока* (М., 1903). Пер. И. М-го.

Ф. Леммермауэр (1857-1932) — австрийский писатель, поэт, журналист, автор романов «Алхимик» (1884), «Белладонна» (1895) и др. Был хорошо знаком с Г. Малером и Р. Вагнером. Автор либретто пользовавшейся успехом оперы А. Рюкауфа «*Die Rosenthalerin*» (1897). Некоторые критики полагают, что повесть «Гашиш» также была написана в расчете на возможную оперную постановку.

### А. Голенищев-Кутузов. Гашиш

Публикуется по первому отдельному изд.: Голенищев-Кутузов А. *Гашиш: Рассказ туркестанца* (СПб., 1875).

## П. Гнедич. Гашиш

Впервые: *Нива*, 1880, № 21-22. Публикуется по этому изд.

П. П. Гнедич (1855-1925) – писатель, драматург, переводчик, историк искусства. Учился в Академии художеств в Санкт-Петербурге (1875–1879; не окончил). Редактировал журн. *Север* (1888) и *Ежегодник императорских театров* (1892). Председатель петербургского Литературно-артистического кружка (1893-1895), управляющий труппой Александринского театра (1900-1908), с 1914 директор музея Общества поощрения художеств. Автор многочисленных прозаических произведений, пьес, трехтомной «История искусств с древнейших времен» (1897).

## Ю. Савич. Действие гашиша на человеческий организм

Впервые: *Атеней: Журнал критики, современной истории и литературы*. 1858, № 51. Публикуется по этому изд. Подстраничные прим. вынесены в конец текста.

## Н. Ланге. О действии гашиша

Впервые в журн. *Вопросы философии и психологии*, 1889, кн. 1. Публикуется по этому изданию.

Н. Н. Ланге (1858-1921) – психолог, представитель экспериментальной психологии. После окончания историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета (1882) стажировался в Германии и Франции, работал в психологическом институте В. Вундта. Впоследствии приват-доцент, затем профессор Новороссийского университета в Одессе, где в 1896 г. организовал одну из первых в России экспериментальных психологических лабораторий.

А. Шерман



## Оглавление

|                                                      |         |
|------------------------------------------------------|---------|
| А. Дюма. Из романа «Граф Монте-Кристо»               | 7       |
| Ж. де Нерваль. Гашиш (из «Истории халифа Хакима»)    | 14      |
| Т. Готье. Клуб гашишистов                            | 23      |
| Ш. Бодлер. Поэма гашиша                              | 45      |
| Ф. Леммермауэр. Гашиш                                | 98      |
| А. Голенищев-Кутузов. Гашиш (Рассказ туркестанца)    | 179     |
| П. Гнедич. Гашиш. Рассказ моего знакомого            | 198     |
| <br><i>Приложения</i>                                |         |
| Ю. Савич. О действии гашиша на человеческий организм | 227     |
| Н. Ланге. О действии гашиша                          | 251     |
| <br>П р и м е ч а н и я                              | <br>267 |

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

**SALAMANDRA P.V.V.**